

Майя Шмелева



фосфены

СОДЕРЖИТ  
НЕЦЕНЗУРНУЮ  
БРАНЬ

18+

# Майя Шмелева Фосфены

*<https://litres.ru/73980936>*

*SelfPub; 2026*

## Аннотация

Сборник притч пронизанные жизненной мудростью, для поиска себя и устойчивого понимания мира вокруг себя. теплота понимания может вас удивить.

# Содержание

гербарий неопределенности	4
ткань без изнанки	23
каменный пояс	47
золото аутодафе	76
Конец ознакомительного фрагмента.	92

# Майя Шмелева

## Фосфены

### гербарий неопределенности

Знаешь, в цветах есть одна тайна, которую не прочтешь ни в одном учебнике по ботанике. Им неведома драма выбора. Семя падает в почву, и если почва принимает его, оно прорастает. Вширь, вглубь, к солнцу. В этом движении нет ни сомнения, ни рефлексии. Стебель не думает: «А правильный ли лепесток я выпускаю?», а корень не спрашивает: «Тот ли минерал я впитываю?». Они просто являют собой чистую форму существования. Я, Инга, смотрю на них каждый день сквозь стекло витрины, перебираю их влажные стебли, вдыхаю их пыльцу, и с каждым годом все острее чувствую пропасть между их миром и моим. Моим миром, где каждый шаг — это попытка оценкой, где прошлое похоже на засушенный гербарий из промахов, а будущее — на бутон, который боишься раскрыть, потому что не знаешь, какого он окажется цвета.

Мне двадцать пять. Для цветка это вечность. Для человека — точка, где первая зелень юности уже должна была дать какую-то завязь. Но внутри меня до сих пор только рыхлая, пахнущая торфом неуверенность. Мой магазин называ-

ется «Бутоньерка». Это маленький островок влажного тропического воздуха посреди бетонного города, где всегда серо. Здесь я прячусь. Запах срезанных пионов и холодных лилий — это запах моего убежища. Когда в магазин заходят люди, они видят улыбчивую девушку с вечно испачканными землей руками, которая может собрать идеальный букет для первого свидания или похорон. Они не видят, что внутри я такой же срезанный цветок, поставленный в вазу с формалином чужих ожиданий, медленно умирающий от невозможности сделать тот самый, главный выбор.

Мой отец, геолог, человек, который понимал язык камней лучше, чем язык людей, сказал мне однажды фразу, которая стала лейтмотивом моего внутреннего распада. Мы сидели на кухне, ели гречневую кашу, и я, шестнадцатилетняя, металась между театральной студией и подготовительными курсами по праву, куда меня настойчиво толкала мама. Я рыдала, размазывая слезы, и кричала: «Я не знаю, что правильно! Я боюсь ошибиться!». Отец отложил ложку, посмотрел на меня сквозь толстые линзы очков и сказал: «Инга, послушай меня внимательно. Это единственная истина, которую стоят твоих слез. Не существует правильного выбора. Есть только выбор и его последствия. Всё. Ты поняла?».

Тогда я не поняла. Я искала «правильное» как философский камень. Мне казалось, что существует идеальная траектория, сплетенная из нитей судьбы, и если я достаточно сильно помучаюсь, достаточно глубоко покопаюсь в себе, я

нащупаю эту золотую нить и пойду по ней. Но отец умер три года спустя, унеся с собой в могилу эту мудрость, а я осталась с его словами, которые жгли мне мозг, как сухой лед. Если нет правильного выбора, значит, любое мое решение — это прыжок в бездну. Но как тогда прыгнуть? Как разжать пальцы, если не знаешь, что внизу: вода или асфальт?

Я выбрала цветы, потому что они безопасны. Это был мой компромисс с экзистенциальным ужасом. Я бросила юрфак на третьем курсе, накопив долгов по экзистенциализму перед самой собой. Я не стала адвокатом, как хотела мать, я не уехала в Непал снимать кино, как предлагал мой тогдашний возлюбленный, художник Егор. Я не стала никем. Я стала флористом, потому что это был не выбор, а уход от выбора. Я спряталась в оранжерее, убедив себя, что здесь, среди хлорофилла, меня не настигнет необходимость принимать взрослые решения. Но она настигла. Она всегда настигает. Она пришла в облике двух мужчин, двух городов и двух похорон, сплетая мои вены в тугой узел.

Здесь, в этой исповедальной тишине, я расскажу тебе о трех днях, которые разорвали мой гербарий на куски и показали, что даже отказ от выбора — это выбор, и цена его самая высокая.

В то утро я подрезала шипы у элитной партии эквадорских роз «Фридом». Кроваво-красные, бархатистые, они пахли терпко и тревожно. Ножницы с хрустом перекусывали колючки, и я думала о том, как странно устроена коммерция

на чувствах. Мы лишаем цветы защиты, делая их безопасными для человеческих рук, но тем самым приближаем их смерть. Лишенный шипов цветок быстрее теряет влагу и вянет. Так и с людьми: лишая их возможности сделать больно, мы ускоряем их внутреннее увядание.

Витрина дребезжала от порывов мартовского ветра, когда дверь открылась и вошел он. Я сразу поняла, что он не за цветами. Люди, которым нужны цветы, входят с особой, рассеянной мимикой — они уже репетируют момент дарения или прощания. Этот же вошел с прицельной точностью, как входят в кабинет к врачу или следователю. Высокий, в темно-синем кашемировом пальто, которое стоило как три моих месячных зарплаты. Скулы острые, словно их вытесали из того самого камня, который изучал мой отец. Глаза цвета мокрого графита. Он пах дорогим табаком и чем-то цитрусовым.

— Мне нужен букет, который говорит сам за себя, — сказал он, и его голос был низким, с легкой хрипотцой. — Без банальностей. Не розы и не тюльпаны.

— Букеты не разговаривают, — я отложила ножницы и вытерла руки о фартук. — Они намекают. Кому адресован намек?

— Женщине, которую я когда-то потерял, — он провел пальцем по лепестку гортензии, и я заметила на его запястье дорогие швейцарские часы. — Она похожа на вас. Такая же... ботаническая. Любит все живое, но боится прикосно-

вений.

Меня передернуло от этой двусмысленной фразы, но я подавила в себе раздражение и начала собирать композицию. Я использовала протеи — экзотические, инопланетные цветы, которые выглядят так, будто они с другой планеты. Они символизируют трансформацию и мужество. Добавила ветки эвкалипта и сухоцветы лагуруса.

— Это протея, — сказала я, протягивая ему букет. — Она переживает засуху и пожары, чтобы расцвести. Передайте ей это. Возможно, она поймет.

Он посмотрел на меня с внезапным интересом, от которого у меня похолодели руки.

— Меня зовут Давид, — он положил на прилавок визитку черного цвета. «Архитектурное бюро «Давид и Партнеры»». — Вы интересно мыслите, Инга. Я прочитал имя на вашем бейдже. Вы когда-нибудь думали, что заслуживаете большего, чем этот подоконник?

— Я не стою на подоконнике, — я резко подвинула к нему терминал для оплаты. — С вас четыре тысячи двести.

Он усмехнулся и приложил карту. Когда он уходил, ветер снова рванул дверь, и несколько лепестков протеи упали на пол, похожие на чешую мифического зверя. Я смотрела на черную карточку, оставленную на прилавке, и чувствовала, как внутри меня закипает странная смесь гнева и любопытства. Он говорил со мной так, будто я спящая принцесса, которую нужно разбудить, но я-то знала, что я давно не сплю.

Я в коме бодрствования, что гораздо хуже.

А вечером пришел Антон. Это был вторник, день поставки горшечных растений, и я перетаскивала тяжелые кадки с фикусами. Антон вошел не через парадную дверь, а через служебный вход, как всегда. Он работал в мастерской по ремонту велосипедов через дорогу, и от него всегда пахло велосипедной смазкой, металлической стружкой и дешевым растворимым кофе. Если Давид был клинком из дамасской стали, то Антон был старым, разношенным, но бесконечно уютным свитером. У него были руки рабочего — с вьевшейся в трещины кожи смазкой, широкие ладони и коротко стриженные ногти. Его светлые волосы вечно торчали в разные стороны, а глаза были цвета весенней листвы — яркие, прозрачные, без второго дна.

— Привет, Ингрид, — он единственный называл меня так, с отсылкой к Бергману. — Я там тебе ведро компоста принес, как ты просила.

— Спасибо, — я кивнула в угол. — Поставь пока. Тяжелый день?

— Ага, одному парню перебирал заднюю втулку, а там все развалилось, представляешь? — он начал свой обычный бесхитростный рассказ о шарикоподшипниках и конусах, и я, слушая его, почувствовала, как спадает напряжение, оставленное Давидом.

Антон был простым, как ромашка. С ним не нужно было играть роли или взвешивать каждую метафору. Мы познако-

мились полгода назад, когда он пришел покупать кактус для своей мастерской. «Чтобы был живучий, как я», — сказал он тогда. С тех пор он заходил почти каждый день, и постепенно наши отношения переползли из категории «соседский флирт» во что-то более глубокое. Он никогда не давил на меня. Он никогда не спрашивал, почему такая умная девушка, как я, до сих пор работает в цветочном. Он просто был рядом. Он молча пил чай, пока я пересаживала орхидеи, помогал таскать тяжелые мешки с землей и иногда, совершенно внезапно, начинал читать мне вслух Пелевина, сбиваясь и смеясь над своими же ошибками.

Когда он дорассказывал про втулку, я подошла и просто уткнулась лбом в его плечо, пропахшее железом. Он замер на секунду, а потом обнял меня своими большими руками, и я почувствовала себя в коконе. В безопасном, теплом, предсказуемом коконе.

— Все хорошо, Ингрид? Ты сегодня какая-то дерганая, — его голос вибрировал где-то в груди.

— Все нормально, — соврала я. — Просто устала.

Я не сказала ему про Давида. Зачем? Это было неважно. Просто мимолетный эпизод, призрак из другого мира. Но когда Антон ушел, а я закрыла магазин на сигнализацию, черная визитка жгла мне карман джинсов, как уголек. Я снова достала ее и посмотрела на номер. «Архитектор». Человек, который проектирует реальность, а не просто чинит втулки.

Я не думала, что позвоню, но на следующий день, в сре-

ду, умерла миссис Вайс — моя любимая покупательница. Ей было восемьдесят четыре, и каждый четверг ровно в одиннадцать она приходила за букетом белых фрезий. «Для моего Карла», — говорила она, хотя ее Карл погиб в автокатастрофе тридцать лет назад. Она покупала цветы для урны с прахом, стоявшей у нее на каминной полке. Это был ритуал, исполненный такой чистой, безумной и вечной любви, что я каждый раз сглатывала ком в горле, заворачивая для нее фрезии в крафтовую бумагу.

Мне позвонила ее сиделка и сказала, что сегодня утром миссис Вайс не проснулась. «Она ушла во сне. За день до ее любимого четверга», — добавила сиделка, и от этой детали у меня внутри что-то оборвалось. Смерть всегда приходит не вовремя, но она никогда не предупреждает. Она просто ставит точку там, где предложение не было дописано.

Я стояла посреди магазина, сжимая в руке телефон, и на меня накатила такая тошнотворная, всепоглощающая бессмысленность, какой я не чувствовала со дня похорон отца. Все эти цветы, все эти бутоны, которые завтра распустятся, а послезавтра увянут — в чем их смысл, если миссис Вайс больше не придет за своими фрезиями? Зачем я здесь стою? Зачем я прячусь, если жизнь все равно найдет тебя даже в бункере из хлорофилла и задушит своей случайностью?

В этом состоянии я и набрала номер Давида. Это был импульс, протест против увядания, истерика.

Он приехал через двадцать минут на черном «Мерседе-

се». Я даже не успела умыться от слез. Я просто закрыла магазин табличкой «Учет» и села в машину, пахнущую кожей и кондиционером.

— Вы были правы, — сказала я, глядя в окно на проплывающие мимо серые улицы. — Я стою на подоконнике. И я, кажется, начинаю засыхать.

Он ничего не ответил, просто вел машину. Мы приехали в район новостроек, где стеклянные башни царапали низкое небо. Он поднял меня на лифте на сороковой этаж, в свой офис. Это было огромное пространство с панорамными окнами. Город лежал внизу, как схема микросхемы, и люди казались муравьями. Внутри были белые стены, макеты зданий, чертежи. Искусственный свет. Стерильность.

— Смотри, — Давид подвел меня к окну. — Что ты видишь?

— Хаос, — ответила я, глядя на беспорядочное нагромождение бетона.

— А я вижу структуру, — он положил руку мне на плечо, и я не сбросила ее. — Каждое здание, которое ты видишь, когда-то было выбором. Кто-то решал: снести этот квартал или сохранить. Построить здесь парк или торговый центр. И они ошибались, Инга. Архитекторы, застройщики — они совершают миллион ошибок. Но они строят. Потому что бездействие — единственная по-настоящему непростительная ошибка.

— Последствия, — прошептала я. — Мой отец говорил

про последствия.

— Да, — Давид резко развернул меня к себе. — Но последствия — это не всегда плохо. Это просто материал для следующего шага. Посмотри на меня. Я предлагаю тебе выбраться из твоего гербария. У меня проект в Берлине, мы уезжаем через месяц. Мне нужен не просто флорист, понимаешь? Мне нужен человек с твоим чувством прекрасного. Ты будешь оформлять зимние сады в элитных резиденциях. Гонорары с пятью нулями, международные контракты. Жизнь вместо существования.

Он говорил, а я видела картинки: самолеты, выставки, я в брючном костюме, представляющая проект на немецком языке. Это было ослепительно. Это был мир, о котором моя мать могла только мечтать. Это был путь вверх, прочь из грязи, из запаха велосипедной смазки, из вечной экономии.

— Я подумаю, — мой голос был слабым.

— Думай быстрее, — он почти приказал. — Самолет через месяц. Места в этом мире не ждут, пока ты соберешься с духом. Их занимают те, кто не боится ошибиться.

Он поцеловал меня. Это был не поцелуй любви, это был поцелуй договора, скрепление печатью. От него пахло цитрусами и властью. И когда я отвечала на этот поцелуй в стеклянном доме над городом, я чувствовала, как часть меня, та самая «ботаническая» девушка, корчится от спазма, но другая часть ликует.

Вернувшись в магазин к вечеру, я чувствовала себя отрав-

ленной. Запах лилий, такой родной раньше, казался приторно-кладбищенским. Я смотрела на полку со средствами для растений и на свои старые кожаные перчатки, и все это выделось мне бутафорией, декорацией к пьесе, из которой я уже выросла. Я собиралась уходить, когда дверь снова скрипнула, и вошел Антон. Его лицо было серым, а в руках он держал железную банку из-под чая.

— Привет, — сказал он глухо. — У меня сегодня умер дед.

Земля ушла у меня из-под ног. Только что я витала над стеклянными башнями Берлина, а теперь рухнула обратно в сырую, тяжелую почву реальности. Дед Антона, дядя Коля, как называли его все в округе, был чудесным стариком с золотыми руками, который научил Антона всему. Я видела его всего два раза, но он угощал меня медом со своей пасеки.

— Антон, прости... — я шагнула к нему.

— Он просил, чтобы его кремировали, — Антон говорил так, словно читал инструкцию. — И попросил не покупать венки. Сказал, что хочет, чтобы его прах высыпали под старую яблоню на даче, но без всех этих дурацких ритуалов. Но я не могу, Ингрид. Я не могу просто взять банку с его прахом, это как-то... не по-людски. Мне нужен хоть какой-то цветок. Просто маленький букет. Не из магазина, а от тебя. Ты же знаешь...

Я знала. Пока Давид рисовал мне картинку будущего, Антон рисовал мне картинку вечности. Простой, незамыслова-

той, деревенской. Я подошла к холодильнику. Руки дрожали. Я смотрела на полки с цветами, и передо мной стоял выбор. Нет, не между пионами и хризантемами. Передо мной стоял выбор такой чудовищной силы, что меня физически затошнило.

Я могла составить для Антона букет. Простой, искренний. Обнять его. Поехать с ним на эту дачу, сидеть под яблоней, слушать его рассказы о деде, вдыхать запах дыма и прелых яблок, а через месяц... через месяц сказать ему, что я улетаю в Берлин с Давидом. Разбить ему сердце, разбить свое сердце, но сделать это. Это был один путь.

Или я могла отказать Давиду прямо сейчас, в эту же секунду, внутренне. Остаться. Принять эту жизнь. Перестать метаться и врасти корнями в эту землю.

Я стояла и перебирала стебли рускусов и эрингиума (синеголовника, который так любил дядя Коля за свою колючую простоту). И вдруг меня пронзила мысль, от которой даже в прохладном холодильнике стало жарко: я не знаю, что правильно. Антон — это прошлое, которое я знаю? Или это мое будущее? Давид — это будущее, о котором я мечтаю? Или это мираж, который убьет мою душу? Вот он, момент истины. И нет никакого компаса. Нет отца, который сказал бы: «Делай так». Есть только выбор. И его последствия.

Я собрала букет на автомате. Синеголовник, сухоцветы бессмертника, немного лаванды и веточка дуба. Букет для вечности, для яблони, для праха. Я протянула его Антону.

Он взял его и вдруг заплакал. Впервые за все время нашего знакомства. Здоровый мужик, который чинит велосипеды, плакал, уткнувшись в колючие шарики синеголовника, а я стояла перед ним как палач, потому что в глубине души я так и не сделала выбор. Я просто отложила его на потом, занявшись цветами.

Ночью мне приснился отец. Он сидел на камне посреди выжженной пустыни и держал в руках геологический молоток. «Смотри, Инга», — сказал он и ударил по камню. Тот раскололся надвое. Внутри одной половины была друза аметистов — ослепительно фиолетовых кристаллов, переливающихся в свете пустынного солнца. Внутри второй половины была горсть влажной, жирной земли и маленький, слепой росток, пробивающийся к свету. «Что ценнее?» — спросил он.

Я проснулась в холодном поту. Ответ был очевиден, но он ускользал. И аметисты, и росток были прекрасны. Ценность зависит только от того, кто смотрит.

Четверг, день похорон миссис Вайс и день прощания с дедом Антона, совпал. Город накрыл густой туман, такой, что ветки деревьев казались венами на сером теле неба. С утра я поехала на кладбище. Гроб миссис Вайс был покрыт белыми фрезиями — я позаботилась об этом, отправив букет за счет магазина. Ее похороны были тихими. Кроме меня и сиделки, пришла пара ее древних подруг. Священник говорил о вечной жизни, а я смотрела на свежую могильную землю и

думала о том, что миссис Вайс больше не нужно выбирать. Ей больше не нужно решать, покупать фрезии сегодня или оставить деньги на лекарства. Она свободна. Но этой свободе я не завидовала.

Сразу после кладбища я, не переодевая черного платья, поехала на дачу к деду Антона. Это был ухабистый проселок, потом электричка, потом автобус. Пока я тряслась в душном салоне, мне позвонил Давид.

— Инга, я отправил твои данные в посольство. Завтра пойдешь подавать на визу. И займись немецким, я пришлю тебе репетитора.

— Давид, а если я не готова? — мой голос дрожал.

— Готовых людей не бывает, — отрезал он. — Бывают люди, которые хватаются за шанс, и люди, которые всю жизнь ноют о том, что поезд ушел. Я думал, ты из первых. Разве я ошибся?

Он надавил на единственную мозоль, которая у меня была, — на гордость. Я сказала «Нет, ты не ошибся» и отключилась.

На даче пахло дымом. Яблоня стояла в центре запущенного сада, черная, корявая, но с набухающими почками. Антон, его мать и пара родственников стояли вокруг ямы. На пеньке стояла та самая железная банка из-под чая. Антон обернулся, когда хрустнула ветка под моей ногой. Он был бледен, но уже спокоен. В его глазах больше не было детской растерянности, было только взрослое, тяжелое горе.

— Ты приехала, — сказал он. — Спасибо. Я оставил для тебя горсть. Дед тебя любил. Скажешь ему пару слов?

Он протянул мне маленький холщовый мешочек. Тяжелый. Прах. Прах человека. Я сжала его в кулаке, и мне показалось, что он теплый. Подошла моя очередь. Что я могла сказать? Я не знала его так хорошо, как хотелось бы. Я посмотрела на банку, на свои руки, на яблоню.

— Простите, дядя Коля, — прошептала я, развязывая мешочек. — Простите, что я ничего не понимаю в этой жизни. Простите, что я запуталась. Но я надеюсь, что там, где вы сейчас, уже не нужно делать этот чертов выбор.

Я высыпала пепел в яму. Он смешался с землей. Серое с черным. Смерть с жизнью. И в этот момент, глядя на эту смесь, я наконец-то поняла притчу отца. Не просто поняла умом, а прочувствовала каждой клеткой, пропитанной запахом гари.

Я думала, что выбор — это разветвление дороги. Что, выбирая Берлин, я теряю Антона, а выбирая Антона, я хороню свои амбиции. Что одно исключает другое. Но передо мной лежал пепел человека, который вырастил сад из земли и навоза. Передо мной стоял мужчина (Антон), который, теряя деда, находил свою взрослость. И внутри меня была я, которая могла вместить и то, и другое. Потому что в мире, где «не существует правильного выбора», главная ошибка — это думать, что выбор конечен.

Я поняла это, когда уже разжала пальцы.

Если я полечу в Берлин, это станет моей реальностью. Я выучу язык, обожгусь о холодность Давида, возможно, стану циничной и богатой. Если я останусь, я выйду замуж за Антона, рожу детей, и буду искать утешение в своих орхидеях, проклиная несбывшиеся мечты в моменты бессонницы. Последствия будут в любом случае. Боль будет в любом случае.

Но был и третий путь. Путь, который я поняла, стоя над прахом. Я не обязана была выбирать ни то, ни другое. Прямо сейчас я могу выбрать себя.

«Не существует правильного выбора, есть только выбор и его последствия». Но это не значит, что нужно выбрать кого-то из них! Я могу выбрать последствия, которые создам сама. Я могу создать свой собственный Берлин, не ложась в постель к архитектору. Я могу уехать учиться на ландшафтного дизайнера завтра, сама, без его связей. А могу остаться здесь, но превратить жалкий магазин «Бутоньерка» в арт-пространство с лекциями по ботанике, как давно мечтала.

Мешочек опустел. Я выпрямилась и глубоко вздохнула. Впервые за три дня мои легкие наполнились воздухом полностью, до самого дна.

Когда закончилась церемония, и все пошли в дом поминать деда блинами, я осталась в саду. Антон вышел за мной. — Ты в порядке? — спросил он, беря меня за руку.

— Нет, Антон, я не в порядке, — честно ответила я. — Я стою на развилке и должна тебе кое-что сказать.

И я рассказала ему все. Про магазин, про Давида, про Бер-

лин, про мой страх, про отца. Я вывалила на него все грязное белье своей души, стоя под голой яблоней, пахнущей дымом. Я ожидала крика, обиды, презрения. Но он просто слушал, сжимая мою ладонь. Когда я закончила, он долго молчал, а потом сказал то, что окончательно разбило мой мир на атомы, чтобы собрать его заново:

— Знаешь, Ингрид, дед всегда говорил, что яблоню нельзя прививать, когда она боится мороза. Нужно делать это в самый лютый холод, когда кажется, что все мертво. Тогда привой приживается лучше. Ты боишься обморозить свою жизнь, поэтому прячешь ее в теплице. Но посмотри, — он показал на черные ветки яблони, — она кажется мертвой, но внутри нее сок уже пошел.

Он поцеловал меня в лоб.

— Если тебе нужен Берлин, лети. Я не умру. И ты не умрешь. И, может быть, даже вернешься. Потому что я люблю тебя, дуру, и хочу, чтобы ты перестала быть срезанным цветком в банке.

Прошло полгода. Сейчас я сижу в своей квартире, за окнами которой шумит совсем другой город. Я все-таки уехала, но не в Берлин. Я взяла академ в небольшом голландском университете, на факультете садоводства. Сама, на грант, который выиграла с проектом «Городские джунгли». Никто не верил, что продавщица цветов пройдет, а я прошла.

Давиду я отказала. Это было тяжело, он был в ярости, называл меня предателем собственного таланта. В этот момент

я поняла, что ему нужна была не я, а мое отражение в его стеклянных башнях. Визитку я выбросила в урну с гниющими листьями, где ей и место.

С Антоном мы расстались, но не как враги. Мы договорились взять паузу. Он иногда пишет мне смешные сообщения о сломанных велосипедах и присылает фотографии пересаженных кактусов из «Бутоньерки» (да, я оставила магазин на управляющую, но душу его забрала с собой). Иногда, глядя на ровные ряды тюльпанов на университетских полях, я чувствую укол одиночества. Я представляю, как он сидит в своей мастерской, весь в масле, и пьет чай из граненого стакана. Мое сердце сжимается. Это последствия.

Иногда мне кажется, что я совершила ошибку. Иногда я плачу по ночам от усталости и чужого языка. Но утром я выхожу в оранжерею, где мы выращиваем новые сорта роз без шипов, и понимаю: это не ошибка. Это мой выбор. И я живу с его последствиями, принимая их, как принимает почва зерно.

Отец был прав. У меня не было единственно верного пути, который начертан на небесах. Был только я, мой страх и моя смелость. Я выбрала не мужчину, я выбрала историю, которую буду рассказывать сама себе до конца дней.

Цветы не выбирают, куда им расти. Им плевать на философию. А я человек, и моя трагедия и моя благодать в том, что я обречена на свободу. Каждый день, срезая старые бутоны, чтобы дать место новым, я повторяю как молитву: «Это

не правильный выбор. Это просто мой выбор. И я готова к саду, который из него вырастет».

## ткань без изнанки

Алессия в тридцать четыре года научилась искусству, которое не преподают в университетах и не описывают в мотивационных бестселлерах. Она научилась исчезать, физически оставаясь в пространстве. Она сидела на совещаниях в издательстве «Панцирь», где работала младшим редактором, и кивала в нужных местах. Её тело добросовестно имитировало жизнь: легкие втягивали спертый кондиционированный воздух, пальцы перебирали скрепки, глаза фокусировались на презентации. Но внутри, под диафрагмой, где у нормальных людей теплится предвкушение или тревога, у неё было тихо. Там был звукоизолирующий войлок.

Это не было депрессией. Химия мозга тут ни при чем. Это была выученная беспомощность высшего пилотажа.

Она возвращалась домой в съемную «однушку», где даже пыль оседала с какой-то временной, необязательной интонацией. Никаких домашних животных. Кот — это якорь, это необходимость возвращаться, это риск разбитого сердца, когда животное умрет. У Алессии не было якорей. Она предпочитала быть лодкой без причала, дрейфующей в открытом море пятьдесят вторую неделю в году.

Главный редактор, грузный мужчина с фамилией Борзов, похожий на старого бульдога, у которого внезапно выросли рога носорога, вызвал её в кабинет.

— Алессия, — сказал он, и слово упало, как кусок сахара в пустой стакан. — Ты отличный работник. Ты вычитываешь рукописи так, будто у тебя микроскоп вместо глаз. Но ты не споришь.

— А нужно спорить? — она поправила рукав блузки. Жест беззащитный и одновременно отгораживающий.

— Рукопись — это драка, — Борзов постучал пальцем по столу. — Ты должна бить автора, чтобы он защищался. А ты просто исправляешь запятые. Ты чистишь шкуру мертвого зверя. Стань охотником.

— Меня устраивает чистить шкуры.

Борзов вздохнул. Он был умнее, чем хотел казаться.

— Дело не в работе, Алессия. Дело в том, что у тебя нет своего текста. Автор без рукописи — это не автор. Это просто машинистка. Ты даже в соцсетях не пишешь ничего, кроме «с днем рождения». Ты боишься черновика.

Она вышла из кабинета, испытывая странное облегчение. Начальник думал, что она боится провала. Он ошибался. Провал был бы действием. Гораздо страшнее провала для Алессии была \*необходимость выбора\*. Каждый раз, когда жизнь подсовывала ей меню, её охватывал паралич. Вы-

брать суп или салат означало отвергнуть одно ради другого. Выбрать мужчину означало отвергнуть одиночество. Любой шаг был предательством бесконечного поля возможностей, превращением Хаоса в убогую форму.

Вечером в пятницу, когда офисный планктон устремлялся в бары снимать стресс, Алессия стояла у окна. Город пульсировал желтыми огнями фар. Там, внизу, жили люди, которые умели хотеть. У них был дар примитивности.

Зазвонил телефон. Высветилось «Мама».

Алессия, не дрогнув, сбросила вызов и выключила звук.

Мать была для неё камертоном тревожности. Каждый разговор с ней состоял из невысказанных претензий: «Я положила на тебя жизнь, а ты даже не замужем». Алессия не могла ей объяснить, что отношения — это не торт, который можно испечь к чаю по рецепту. Это бездна, в которую нужно прыгнуть, не зная, есть ли там вода. А она не умела прыгать.

Её тип привязанности психологи называют «избегающим». Но научный термин слишком стерилен, чтобы описать запах раздавленной самодостаточности. Это когда близость ощущается как капкан. Когда после секса хочется немедленно одеться и уехать в ночь, даже если это твоя собственная квартира.

Последний мужчина, Роман, ушел от неё три месяца назад. Он был хороший. Слишком хороший. Инженер, с большими руками и смешной манерой пить чай, держа чашку всей пятерней. Он любил её. Алессия чувствовала эту любовь, и та жгла её, как радиация.

— Почему ты никогда не остаешься у меня до утра? — спросил он однажды.

— У меня бессонница, и я не хочу тебе мешать, — соврала она.

На самом деле она боялась утра. Утра, когда они будут варить кофе, и нужно будет о чем-то говорить. Когда ее взлохмаченные волосы и отсутствие макияжа станут видны при безжалостном дневном свете. Близость — это когда тебя видят без скорлупы. Алессия не выносила быть увиденной.

Роман пытался пробить брешь в её обороне. Он звал её в поход, на концерты, просто гулять в парке, где кормят уток. Алессия соглашалась, но всегда с оговоркой: «Если не будет дождя», «Если я не задержусь на работе», «Если я не заболела». Она оставляла пути к отступлению, даже когда никто не наступал.

Наконец, он спросил прямо:

— Ты меня любишь или я просто удобный вариант?

Она молчала две минуты. Часы на стене отсчитывали удары молотка по гвоздям крышки её гроба.

— Я не знаю, что такое любовь, — честно ответила она.

— Мне кажется, люди это выдумали, чтобы оправдать гормональный всплеск.

Роман ушел, хлопнув дверью. Вернее, он тихо закрыл её, что было гораздо страшнее, потому что означало безнадежность.

Алессия тогда выдохнула. Натяжение спало.

«Слава богу», — подумала она, и тут же ужаснулась этой мысли. Она была рада, что её оставили. Чувство облегчения от расставания было единственным сильным чувством, которое она позволяла себе испытывать. Это был её наркотик — свобода через потерю.

Она сидела на кухне, пила растворимый кофе и смотрела в стену. Стена была бежевой. Бежевый — цвет компромисса, цвет страха перед чистотой белого и мраком черного. Вся её жизнь была бежевой.

«Мы живём той жизнью, на которую нам хватило смелости», — эта фраза застряла у неё в голове еще с университетских времен. Профессор философии бросил её в аудиторию как необязательный афоризм. Тогда Алессии было двадцать, и она подумала: «Какая глупость. Жизнь определяется обстоятельствами, а не смелостью».

Сейчас, в тридцать четыре, она поняла, что профессор был прав. Но поняла это неправильно. Она думала, что смелость — это отсутствие страха. Что смелые люди просто не видят рисков. И она ждала, когда страх уйдет, чтобы начать

жить. Но страх не уходил. Он был основным строительным материалом её личности.

В выходные Алессия проводила ритуал, который называла «генеральной уборкой идентичности». Она перебирала старые вещи. Не из сентиментальности, а из потребности убедиться, что прошлое такое же пресное, как и настоящее.

В коробке из-под обуви лежали её отвергнутые призывания.

Билет на курсы испанского языка, использованный только наполовину. Она бросила, когда началась тема спряжений глаголов. «Зачем мне испанский? В Мексику я не поеду». Грамматика требует структурного мышления, а её мышление было амёбным — оно растекалось и обтекало препятствия, не формируя четких конструкций.

Рисунки углем. Года три назад она вдруг решила, что станет художницей. На рисунках были изображены идеальные геометрические фигуры. Кубы. Шары. Они были технически безупречны и абсолютно мертвы. Учитель рисования, лохматый старик с глазами навывкате, сказал: «Девочка, ты чертишь, а не рисуешь. Ты боишься кривой линии. Но жизнь — это кривая. Прямая — это смерть». Она обиделась и перестала ходить.

Трубка для плавания. Она хотела нырять с маской, но на

первом же занятии, опустив лицо в воду, она услышала только бульканье и панику. Вода попала в нос, она закашлялась и вылезла из бассейна с твердым убеждением, что море создано, чтобы на него смотреть, а не чтобы в него погружаться.

Алессия закрыла коробку. Кладбище нереализованных возможностей. Если бы у покойников были могилы, это был бы погост размером с мегаполис.

Хуже всего были фотографии. Она наткнулась на снимок, где ей десять. Она стоит на школьной сцене в костюме Снежной королевы. Взгляд надменный, уверенный. Когда она перестала быть этой девочкой? Где точка перелома?

Может быть, когда отец ушел из семьи, и мать сказала: «Никому нельзя верить. Мужчинам — в особенности. Близость — это нож в спину».

Алессия усвоила урок. Близость — это боль. Ожидания — это разочарование. Желание — это наказание. Легче ничего не хотеть. Тогда никто из богов не сможет посмеяться над тобой, видя твои тщетные потуги.

Она легла на диван и уставилась в потолок. Легкое головокружение напомнило ей, что она ничего не ела, кроме кофе. Есть не хотелось. Хотелось уснуть и не просыпаться. Не в смысле смерти, а в смысле глубокого анабиоза, в котором не нужно принимать решения.

В дверь позвонили.

Алессия замерла. Сердце забилося часто, как у пойманного воробья. Кто это? Она никого не ждала. Соседи? Курьер ошибается дверью?

Звонок повторился, настойчивый, требовательный. Она не шевелилась, боясь выдать свое присутствие скрипом половиц.

Человек за дверью потоптался и ушел.

Алессия выдохнула.

Она вела себя так с самого детства. Звонок в дверь, незнакомый номер на телефоне, стук в окно — всё это было вторжением. Мир постоянно пытался вломиться в её ракушку, и главной задачей было удержать створки закрытыми.

«Ты прячешься даже тогда, когда тебя никто не ищет», — сказала как-то единственная подруга, Нина. Они дружили еще с института, но виделись редко. Нина была полной противоположностью — шумная, эмоциональная, трижды разведенная и всё еще верящая в «большую любовь».

Алессия ценила её, но держала на дистанции вытянутой руки.

В понедельник Борзов вызвал её снова. Вид у него был решительный.

— Алессия, я даю тебе шанс, — сказал он, пододвигая папку. — К нам приходит новый автор. Детективы. Очень талантливый мальчик, но совершенно дикий. В рукописи золото, но оно в навозе. Ты у нас лучший «чистильщик». При-

ведешь текст в порядок, но при этом главная задача — не дать ему разбежаться. У него паранойя, он считает, что издательства воруют идеи.

— То есть я должна быть нянькой?

— Ты должна быть психологом, — Борзов поправил галстук. — Уболтай его. У тебя же был опыт общения с трудными людьми?

Алессия усмехнулась про себя. Весь её опыт общения с трудными людьми сводился к тому, чтобы заканчивать общение как можно быстрее. Но она кивнула. Спорить с начальником — это конфликт. Конфликт — это небезопасно.

Автор явился в тот же день. Звали его Клим. Он был похож на одуванчик, в который ударила молния. Всклокоченные волосы, мятая рубашка с пятном, потертые джинсы. Ему было около тридцати, но выглядел он на двадцать пять. Глаза горели лихорадочным блеском.

— Это вы редактор? — спросил он с порога, не здороваясь. — Учтите, я не дам резать текст. Каждое слово на своем месте.

— Здравствуйте, Клим, — Алессия жестом указала на стул. — Кофе?

— Нет. Я пью только воду. Вода нейтральна.

«Боже, — подумала Алессия. — Домашний философ. Этого мне не хватало».

Они начали работать. Клим действительно оказался талантливым. Его текст был неровным, рваным, как кардиограмма бегущего человека. В нем была жизнь, которой так не хватало Алессии. Она правила грамматику, а он следил за каждым её движением, как коршун.

— Почему вы убрали здесь запятую? — возмутился он.

— Потому что по правилам русского языка здесь обособляется деепричастный оборот.

— Плевать на правила! Это ритм! Вы разрушаете ритм!

Алессия вздохнула. Она не любила, когда на неё давили. Ей хотелось встать и сказать: «Редактируйте сами». Но это был бы поступок. А поступков она избегала.

— Хорошо, Клим. Вернем запятую. Но дальше вы не будете кричать. Договорились?

Он вдруг успокоился и посмотрел на неё с любопытством.

— Вы странная. Сидите тут, как фарфоровая кукла. Вам вообще интересно то, что вы читаете?

— Моя задача — сделать текст чистым, — уклончиво ответила она.

— Жизнь вообще грязная штука, — заявил Клим. — Грязь — это клей. Из чистоты ничего не рождается.

Алессия промолчала. Ей стало неуютно от того, что этот психопат с ходу попал в болевую точку.

Встречи с Климом стали ежедневной пыткой. Он нарушал

все её протоколы безопасности. Он врывается без стука, говорил громко, задавал нетактичные вопросы и требовал ответной реакции.

— Почему у вас на столе нет фотографий? — спросил он однажды. — У всех есть дурацкие рамки с котами или детьми.

— Я не люблю пыль.

— Чушь. Вы не любите якоря. Верно?

Алессия поперхнулась кофе. Откуда этот юродивый знал про якоря?

— Не ваше дело, — сказала она резче, чем хотела.

— Ого, ответная реакция! — Клим захлопал в ладоши. — Прогресс. А то сидите, как восковая фигура. Я уж думал, вы биоробот с функцией проверки орфографии.

Она хотела огрызнуться, но сдержалась. Он вел себя как провокатор. Но в его провокациях была странная логика. Он бил без злобы, а из любопытства, как ребенок разбирает будильник, чтобы посмотреть, что там тикает.

Через две недели такой «терапии» Алессия поймала себя на мысли, что ждет его прихода. Не потому что он ей нравился как мужчина. Боже упаси. Просто он был единственным человеком, который не принимал её нейтралитет. Он требовал от неё цвета: либо черного, либо белого.

Однажды он притащил две банки краски — красную и синюю.

— Что это? — спросила Алессия.

— Эксперимент. Мы сейчас пойдём в парк и будем рисовать на асфальте.

— Я не пойду. Я на работе.

— У вас обед, — он схватил её за руку. Рука у него была горячая и цепкая. — Идем. Рукопись подождет. А жизнь нет.

Это было грубое вторжение в её границы. Физический контакт был для Алессии почти невыносим. Он нарушал дистанцию. Но он дернул её так неожиданно, что она подчинилась инстинктивно, просто чтобы не упасть, и они вышли на улицу.

В парке пахло прелой листвой и шашлыками. Клим открыл банки, окунул туда кисти и протянул одну Алессии.

— Рисуйте.

— Что рисовать? Я не умею.

— Вот это вот, — он ткнул пальцем ей в грудь, в район солнечного сплетения. — Нарисуйте то, что у вас болит. Только не думайте, машинально.

— Ничего у меня не болит!

— Врете. У всех болит. Просто вы свою боль заморозили, как мамонта в вечной мерзлоте.

Алессия стояла с кистью в руке, чувствуя себя полной идиоткой. Мимо шли мамы с колясками, студенты, пенсио-

неры. Все смотрели на странную пару, которая собиралась пачкать асфальт.

— Клим, прекрати.

— Слабо? — он ухмыльнулся. — Я так и знал. Смелости хватает только на то, чтобы запятые переставлять. Жизнь проходит, Алессия. Вы думаете, черновик можно переписывать бесконечно? Чистовик настанет внезапно, а у вас даже сюжета нет.

Слово «смелость» ударило её наотмашь. Она вспомнила фразу. «Мы живём той жизнью, на которую нам хватило смелости».

Она со злостью макнула кисть в красную краску и провела жирную линию. Потом еще одну. Клим не врал. Как только она перестала думать о результате, рука пошла сама. Это была не картинка. Это была абстракция — красные и синие спирали, перечеркнутые черной полосой.

— Ну вот, — сказал Клим удовлетворенно. — Решетка. Вы нарисовали решетку.

Алессия посмотрела на свой «рисунок». И, черт возьми, он был прав. Это была тюремная решетка. Она изобразила свой внутренний мир, даже не осознавая этого.

Она бросила кисть в банку с водой и, не прощаясь, пошла прочь. Слезы душили её, но она не позволяла им пролиться. Плакать на людях — стыдно. Плакать в одиночестве — бессмысленно.

Она ненавидела Клима. Он грязным сапогом прошелся по чистому полу её отчуждения.

Ночью Алессия не могла уснуть. Решетка стояла перед глазами. Клим был неприятным типом, но он случайно или намеренно выполнил функцию катализатора. Он не побоялся сказать ей правду в лицо, потому что ему было плевать на её чувства. Он любил только свой текст и истину, какой бы горькой она ни была.

Алессия включила ноутбук. Ей нужно было отвлечься. Она зашла в социальные сети, чего не делала месяцами. На стене у Нины было обновление статуса. Фотография счастливой троицы: Нина, её новый муж и их собака.

«Согласилась на свидание, хотя боялась до дрожи. И вот результат! Бойтесь, но делайте!»

Банальщина. Но почему эта банальщина работает у других и не работает у неё?

Она пролистала ленту. Одноклассники. Коллеги. Случайные знакомые. Они меняли работы, рожали детей, переезжали в другие города, писали книги, разводились и женились снова. Они жили. Их жизнь была похожа на бурлящую реку, а её собственная — на затхлое болото.

«Мы живём той жизнью, на которую нам хватило смелости».

Алессия вдруг остро осознала, что её избегание — это

не уникальная черта характера, не проклятие. Это трусость. Возведенная в абсолют, эстетизированная, поданная под соусом самодостаточности, но трусость.

Она боялась звонить маме — и убеждала себя, что у них «сложные отношения». Но отношения были сложными именно потому, что она не могла сказать: «Мама, прекрати манипулировать, я взрослая».

Она боялась писать свой текст — и придумала отмазку, что она «редактор от бога, а не графоман».

Она боялась близости — и называла это «свободой». Но какая это свобода, если ты боишься выйти из камеры, потому что за её пределами нет решетки, о которую можно опереться?

В голове что-то щелкнуло. Этот щелчок был почти физическим. Так бывает, когда позвонок встает на место после долгого смещения. Больно, но дышать становится легче.

Она встала и подошла к зеркалу. Из темноты на неё смотрела женщина с бледным лицом и темными кругами под глазами. Фарфоровая кукла. Биоробот.

— Хватит, — сказала она вслух. Голос прозвучал хрипло, непривычно. — Хватит прятаться.

Утром Алессия совершила первый смелый поступок за долгое время. Она позвонила матери.

Гудок. Второй. Третий. Сердце колотилось где-то в горле,

перекрывая дыхание.

— Алесья? — голос матери был удивленным и настороженным. — Что-то случилось?

— Нет, мам. Ничего не случилось. Я просто хочу тебе сказать...

Слова застряли. Паз не открывался.

— Что сказать? — в голосе матери прорезался металл. — Денег надо?

— Нет! — закричала Алессия. — Не надо денег! Я звоню, потому что я твоя дочь! Можно мне просто позвонить?

Пауза. На том конце провода что-то скрипнуло. Мать молчала.

— Ты чего кричишь? — спросила она наконец растерянно.

— Я не кричу. Я говорю громко. Я живая, мам. Я просто хочу, чтобы мы нормально общались.

— А мы разве ненормально общаемся? — в голосе матери звучала обида.

— Мы не общаемся вообще, — Алессия выдохнула. — Я звоню раз в месяц и терплю лекции о том, что я не замужем. А ты не знаешь, чем я живу.

— А кто виноват? — немедленно перешла в атаку мать. — Ты сама не рассказываешь! Ты закрылась от меня еще в школе!

Старый сценарий. Сейчас они поругаются и бросят трубки.

— СТОП, — громко сказала Алессия. — Мам, стоп. Я не хочу ругаться. Я хочу приехать в субботу. Ты испечешь свой яблочный пирог? Я по нему скучаю.

Это был переворот стратегии. Алессия не просила пирог с тех пор, как уехала учиться. Пирог был ритуалом сближения.

Мать замолчала, сбитая с толку.

— Пирог? — переспросила она. — Ну... приезжай. Яблок сейчас много.

— Вот и хорошо. До субботы.

Алессия отключила вызов и поняла, что дрожит. Один простой телефонный звонок дался ей как восхождение на Эверест. Она вышла на кухню, налила воды и выпила залпом.

Афоризм гремел в висках: «Мы живём той жизнью, на которую нам хватило смелости».

Получается, она просто соглашалась на жизнь класса «эконом». Смелость — это валюта. У кого-то её мешки, у кого-то гроши.

Теперь второй акт её нового театра. Клим.

Она пришла на работу с твердым намерением поговорить с ним жестко. Но Клим сидел в переговорной и смотрел в одну точку. Вид у него был потерянный.

— Что случилось? — спросила Алессия, забыв о нападе-

нии.

— Рукопись не принимают, — он усмехнулся. — Главред сказал, что концовка не коммерческая. Нужно, чтобы убийца раскаялся. А мой убийца не раскаивается. Он считает, что был прав.

— И что? Переписывать будешь?

— Нет, конечно, — Клим взъерошил волосы. — Это правда характера. Но Борзов говорит, что если я не переделаю, книгу завернут.

Алессия села напротив. У нее в голове боролись две личности: «Старая Алессия», которая советовала не лезть в чужие дела, и «Новая Алессия», которая только что сделала гимнастический трюк со звонком матери.

— Я пойду к Борзову, — сказала она, и сама ужаснулась своим словам.

— Ты? — Клим удивленно поднял бровь. — Зачем?

— Нужно защищать текст, если ты в него веришь. И автора.

Она встала и пошла в кабинет главного редактора. Каждый шаг давался с трудом. Это была не её война. Она не обязана подставляться под удар ради какого-то сумасшедшего писца. Но это была её первая возможность проявить волю не в бытовой ссоре, а в профессиональной сфере.

— Виктор Павлович, — она вошла без стука. — Можно? Борзов поднял глаза от бумаг.

— У тебя лицо, будто ты собралась увольняться.

— Нет. Я насчет рукописи Климова.

— Ах, это... — Борзов откинулся в кресле. — Я уже сказал ему решение. Концовка — бред. Читатель хочет справедливости.

— Читатель хочет правды, — возразила Алессия, чувствуя, как предательски дрожит голос. — Концовка неудобная, да. Но она честная. Если её изменить, книга станет подделкой.

— Алессия, ты редактор, а не арт-директор, — Борзов начал злиться. — Твое дело запятые.

— Мое дело — чтобы текст был живым, — она уперлась руками в его стол. — Клим — дурак и псих, спору нет. Но он написал живую вещь. Если мы её кастрируем ради продаж, мы станем не издателями, а мясниками.

В кабинете повисла пауза. Борзов смотрел на неё во все глаза. Такой Алессию он не знал. Из тихой мыши она превратилась в загнанного, но опасного зверька.

— Ты понимаешь, что это моя фирма и я рискую деньгами? — тихо спросил он.

— А ты понимаешь, что у тебя сейф, набитый золотом, но ни одной жемчужины? — парировала Алессия, цитируя самого Борзова недельной давности. — Ты сам учил меня, что рукопись — это драка. Я дерусь.

Борзов потер переносицу. Пауза затянулась.

— Ладно, — выдавил он. — Давай так. Печатаем тысячу экземпляров. Пробный тираж. Если не продается, уволю вас обоих.

— Идет, — выдохнула Алессия.

Когда она вернулась в переговорную, Клим смотрел на неё как на призрака коммунизма.

— Ты серьезно?

— Я больше не боюсь, Клим, — сказала Алессия, падая в кресло. — Вернее, боюсь, но делаю. В этом разница.

Выходные с матерью прошли странно. Они не ругались. Они сидели на кухне, ели пирог и говорили о пустяках. Алессия рассматривала мать, пытаясь увидеть в ней не «тирана и манипулятора», а просто усталую пожилую женщину. И у неё получилось. Когда мать в очередной раз начала заводить шарманку про «внуков», Алессия мягко сказала:

— Мам, у меня может не быть детей. Я не знаю. Прими это сейчас, чтобы потом не разругаться.

Мать замолчала. Отрезала кусочек пирога, положила в рот.

— Ты странная сегодня, Алесья. Но с тобой легче, чем обычно.

Это была маленькая победа. Еще одна монетка в копилку смелости.

Наступила осень. С деревьев слетали листья, а с Алессии слетала шелуха безразличия. Она продолжала работать, но теперь находила в этом вкус. Она даже записалась на курсы испанского, к ужасу своей внутренней «улитки». Улитка пищала: «Зачем? Это стресс! Ты опозоришься». Но Алессия уже знала секрет: позор — это тоже жизнь. Прячься от позора, прячься от триумфа.

На одном из уроков она запнулась, читая текст, и вся группа засмеялась. Старая Алессия немедленно собрала бы вещи и ушла, сторя со стыда. Новая Алессия, красная как рак, улыбнулась и сказала: «Простите, я пока учусь». Преподаватель кивнул. Мир не рухнул.

В середине октября Клим пригласил её на презентацию книги в маленький книжный магазин.

— Будет человек двадцать, не больше, — сказал он. — Придешь?

— Приду, — ответила она, не раздумывая.

Она пришла в черном платье, которое купила специально для этого случая. Раньше она носила серое и бесформенное, чтобы «не высовываться». Теперь ей захотелось, чтобы её увидели.

Клим читал отрывки. У него оказался удивительно глубокий, бархатный голос, совсем не похожий на его обычный

истерический тон. Настоящий талант, — подумала Алессия.

После презентации они сидели в кафе.

— Ты изменилась, — сказал Клим, размешивая сахар в чашке.

— Знаю. Я устала быть мебелью.

— Ты не была мебелью. Ты была рукописью в сейфе. Теперь тебя напечатали. — Он помолчал. — Я хочу тебе кое-что показать.

Он достал из рюкзака потрепанную тетрадь. Протянул ей.

— Что это?

— Новая книга. Вернее, наброски. Я пишу о девушке, которая боялась жить. О её пути.

Алессия почувствовала, как перехватывает дыхание.

— Это обо мне?

— О многих, — уклончиво сказал Клим. — Но я хочу, чтобы ты прочитала и сказала, правдиво ли это. Потому что ты теперь эксперт по выходу из тени.

Алессия взяла тетрадь. Руки дрожали, но теперь это была не дрожь страха, а дрожь предвкушения.

Жизнь больше не казалась ей черновиком, который можно смять и выбросить. Она стала чистовиком, и каждое написанное в ней слово имело цену.

Ценой была смелость.

Следующей весной Алессия сидела на скамейке в парке —

том самом, где они рисовали решетку. Решетка давно смылась дождями. Асфальт был чист.

Она держала в руках сигнальный экземпляр книги Клима с названием «Точка кипения». На форзаце было написано: «Алессии, моему первому читателю и самому честному редактору. Спасибо, что перестала править и начала жить».

Испанский она почти забросила, но вместо него открыла для себя психологию. Поступила на заочный курс, хотела стать гештальт-терапевтом, чтобы помогать таким же «улиткам в домиках», какой была сама.

Отношений с Климом у них не случилось. Однажды он случайно коснулся её плеча, и она не отстранилась. Это был прогресс, но химии не возникло. Зато возникла дружба, крепкая и странная.

Алессия впервые в жизни поняла, что одиночество может быть результатом свободы, а не страха.

«Мы живём той жизнью, на которую нам хватило смелости», — повторила она про себя.

Раньше ей хватало смелости только на то, чтобы дышать. Теперь она копила капитал. Каждый день она делала одну маленькую страшную вещь. Ответить на сообщение сразу, а не через неделю. Окликнуть соседку по имени. Записаться к стоматологу, а не терпеть боль. Мелочи, из которых состоит ткань реальной жизни.

Это было похоже на починку огромного механизма. Ше-

стеренки скрипели, ржавчина сыпалась, но механизм крутился.

Алессия посмотрела на небо. Оно было глубоким, синим, и где-то там, в вышине, таял след от самолета.

— Я смогла, — сказала она ветру.

И ветер унес её слова туда, где им и следовало быть — в бесконечность, где нет ни решеток, ни страха, а есть только ненаписанный текст будущего.

Вот рассказ, написанный в жанре социального реализма с элементами кинематографичного стиля.

## КАМЕННЫЙ ПОЯС

Солнце бьет в невымытые окна без жалости. Лучи прорезают пыльный воздух и упираются в лицо спящего Марка. Ему двадцать семь, но сейчас, во сне, когда мышцы лица расслаблены, он выглядит на все сорок. Глубокая складка залегла между бровей — словно шрам от давнего удара.

Будильник на телефоне разрывается вибрацией. Старый айфон ползет по стеклянному журнальному столику, жужжа, как рассерженный шмель.

Марк открывает глаза. Потолок над ним в трещинах — год назад залили соседи сверху, но ремонт делать не на что. Он смотрит на эти трещины каждое утро и видит в них карту метро, которой в Екатеринбурге нет.

Вставать не хочется. Тело ломит — вчера он позволил себе бутылку дешевого вискаря, потому что была пятница и потому что на душе скребли кошки. Кошки не ушли, а лишь расплодились и теперь, кажется, привели с собой тигра.

Марк спускает ноги на пол. Паркет холодный, местами вздувшийся. Славный дубовый паркет, по которому когда-то ходил отец в начищенных туфлях. Теперь по нему Марк шле-

пает босиком, стараясь не загнать занозу.

Он идет на кухню мимо большого зеркала в прихожей. Останавливается на секунду, смотрит на свое отражение: высокий, широкоплечий, но уже с заметным брюшком — пивным, дешевым, не барским. Светлые волосы, которые раньше укладывал в модном барбершопе на Радищева, теперь затянуты в неопрятный хвост. Взгляд серых глаз — погасший.

— Ну здравствуй, М-да, — говорит он своему отражению.

Так его называл один знакомый барыга, с которым они когда-то тусили в «Гринвиче». Марк-Мда. Потому что любое упоминание о нем в последнее время вызывает именно эту реакцию.

На кухне бардак. Гора немытой посуды в раковине источает кислый запах. Марк открывает холодильник — внутри пусто, только начатая пачка сосисок и открытая банка шпрот, затянувшаяся сверху пленкой застывшего жира. Ни масла, ни сыра, ни нормальной еды.

Он захлопывает дверцу.

Кофе хотя бы есть. Дешевый растворимый, но три ложки на кружку — и почти похоже на эспрессо из той кофейни на

Вайнера, куда он когда-то водил девушек.

Телефон снова вибрирует. На этот раз не будильник — сообщение от «Русского стандарта»: напоминание о просроченном платеже. Марк смахивает уведомление, не читая. Таких сообщений у него в телефоне — целая коллекция. Как марки.

Огромные стеклянные витрины автосалона сверкают на солнце. Внутри — царство лака, хрома и новой кожи. Запах пластика, полироли, денег и чьих-то несбывшихся надежд. В динамиках ненавязчиво играет лаунж.

Марк стоит возле черного седана представительского класса — надраенного до такого блеска, что в отражении на дверце можно бриться. На нем дешевый, но хорошо отглаженный костюм. Бейджик на лацкане: «Марк Шелестов. Старший менеджер по продажам».

Старший менеджер — звучит. На деле — просто продажник, один из десятка таких же парней в костюмах, которые с улыбкой гиены встречают любого входящего.

Рядом переминается с ноги на ногу клиент — мужчина лет пятидесяти, плотный, краснолицый, в дорогой, но безвкусной одежде. Золотая печатка на пальце, часы «Rolex» —

явная, кричащая подделка. Из тех людей, что скопили денег на эконом-бизнес, но строят из себя олигарха.

— Ну так что, берем? — Марк лениво, почти не скрывая скуки, кивает на машину.

Клиент облизывает губы, трогает ручку двери. Открывает, заглядывает в салон, вдыхает запах новой кожи, как кокаин.

— Дороговато... — тянет он неуверенно.

— Дмитрий Анатольевич, — голос Марка звучит ровно, профессионально, но в нем нет ни капли того заискивания, что обычно исходит от продавцов. — Вы же понимаете, за что платите. Полный привод, климат-контроль, массаж кресел, панорама. Это не машина, это космический корабль. Сядете за руль — и забудете, что такое пробки с их плебейским комфортом.

Он сыпет терминами, цифрами разгона до сотни, объемом двигателя. Все это Марк знает не потому, что выучил брошюру. Он вырос в этих машинах. Когда-то давно, в детстве, отец катал его на похожих — служебных, с водителем. Тогда Марк сидел сзади, развалиясь, и смотрел на проплывающий за тонированным стеклом город. Казалось, весь мир принадлежит ему.

— А тест-драйв? — спрашивает клиент с надеждой.

— Конечно, — Марк небрежным жестом показывает на выход.

Он выгоняет машину из салона. Черный красавец мягко урчит мотором. Клиент садится за руль — и в этот момент выражение его лица меняется. Исчезает неуверенность, расправляются плечи. Машина наполняет человека чувством собственной значимости. Это наркотик. Марк знает этот эффект слишком хорошо.

Они выезжают на центральные улицы. Клиент ведет осторожно, почти робко.

— Газуйте, не бойтесь, — командует Марк.

Двигатель взрывается мощностью, вжимает обоих в кресла. Клиент нервно смеется, руки дрожат на руле.

— Хороша, чертовка! — выдыхает он. — Беру! Но скидку сделайте. Максимальную.

Марк кивает. Смотрит в окно на проплывающие мимо здания. Вот дом купца Севастьянова — яркий, нелепый, как

пряничный домик, чудом уцелевший в центре серого уральского города. А вот небоскреб «Высоцкий» — бетонная игла, протыкающая низкое небо. Город контрастов.

— Дорогой город, — вдруг произносит клиент, замедляясь у светофора. — Все в кредит, все в ипотеку. Машины — и те покупают в долг.

— Все нормальные люди живут в долг, — равнодушно отвечает Марк. — Деньги должны работать.

— А вы? У вас квартира своя или ипотека?

Марк не отвечает. Квартира своя. Отцовская. За которую он вот-вот перестанет платить по счетам, если не продаст эту чертову машину. И еще десять таких же.

Сделка состоялась. Клиент уехал на новой машине, а Марк получил свои комиссионные. Не бог весть что, но хватит заплатить за электричество и купить нормальной еды. И, может быть, даже немного отложить на черный день. Хотя черные дни теперь случались чаще, чем белые.

Он сидит на кухне, ужинает пельменями из пачки, сваренными по-студенчески — прямо в ковшике. Телевизор в комнате показывает какой-то музыкальный канал из нуле-

вых. Ностальгия на экспорт.

Взгляд Марка падает на полку над холодильником. Там, в старой картонной коробке из-под обуви, хранятся вещи отца. Он не перебирал их с самых похорон. Два года. Два года, как не стало человека, на котором держался весь его мир.

Он пододвигает табуретку, лезет, снимает коробку. Ставит на стол. Пыль летит в лицо, заставляя чихать.

Внутри — паспорт отца (дырочка от степлера на последней странице, там, где штамп о смерти), старые наручные часы «Полёт» (еще советские, от деда), несколько фотографий, блокнот в кожаном переплете и связка ключей, от которых Марк давно забыл замки.

Он берет фотографии. Вот они с отцом на море — Марку лет десять, он щурится на солнце, а отец, молодой, загорелый, смеется, обнимая его за плечи. А вот мама. Она умерла, когда Марку было двенадцать. От рака. Быстро, нелепо, как это всегда и бывает. Отец тогда поседел за месяц, но держался ради сына.

А потом появилась Алина.

Марк переворачивает следующую фотографию — и зами-

рает. На него смотрит красивая женщина с пепельными волосами, собранными в элегантный пучок. Умные, немного насмешливые глаза, прямой нос, четкая линия подбородка. Алина. Мачеха.

Марк резко захлопывает коробку. Но ядовитая память уже просочилась в кровь.

*Просторная гостиная, обшитая деревом. Пахнет хвоей, дорогими сигарами и горем. Большой стол у окна завален бумагами. На кожаном диване сидит Марк — двадцатипятилетний, в мятом дизайнерском худи, с красными от недосыпа и слез глазами.*

*Девять дней со смерти отца. Суета поминок позади, гости разъехались. В доме остались только двое: Марк и Алина.*

*Алина стоит у окна, спиной к Марку. На ней строгое черное платье. Свет из окна обрисовывает ее стройную фигуру. Ей чуть за пятьдесят, но она все еще красива той ухоженной, сытой красотой, которую дает жизнь в достатке.*

*— Это какая-то ошибка, — говорит Марк охрипшим голосом. — Этого не может быть.*

*Алина не оборачивается.*

*— Отец не мог оставить все тебе. Это наш дом. Наш! Я здесь вырос!*

*— Ты здесь жил, Марк. Это разные вещи.*

*Голос у нее спокойный, ровный, без истерики. Это бесит Марка больше всего.*

*— Ты хочешь сказать, что я никто? Что я ему никто? — он вскакивает с дивана. Лицо его искажается гневом. — Ты, змея, пришла в нашу семью, окрутила отца, а теперь выкидываешь меня на улицу?*

*Алина медленно поворачивается. Взгляд ее серых глаз холоден, но в глубине плещется боль.*

*— Я никого не выкидываю. У тебя есть квартира в центре, которую он переписал на тебя еще пять лет назад. У тебя есть машина. У тебя были деньги на счетах, но ты их спустил за два года на свои развлечения. Твой отец был жив, он помогал тебе, закрывал глаза. Я ему говорила: «Сергея, ты его губишь». А он отвечал: «Перебесится». Не перебесился.*

— Не смей говорить о нем так!

— Я любила его, — тихо произносит Алина. — Больше жизни. И я обещала ему, что помогу тебе, если ты захочешь измениться. Но ты не хочешь. Тебе нужны просто деньги. Ты приходишь ко мне, как к банкомату, и требуешь выдать купюры. Но банкомат пуст, Марк. Я не дам тебе ни копейки.

Ошеломленный Марк делает шаг назад. Его трясет. Все внутри кипит. Обида, ярость, чувство несправедливости застилают глаза пеленой.

— Я тебе этого никогда не прощу. Никогда, слышишь? Ты воровка! Ты украла мою жизнь!

Он хватается со стола тяжелое хрустальное пресс-папье и с размаху швыряет его в стену. Хрусталь взрывается фонтаном осколков возле ног Алины. Она даже не вздрагивает.

— Иди, Марк. Остынь.

Он вылетает из гостиной, хлопает дверью так, что дрожат стекла. Уже в прихожей слышит ее тихий голос, сказанный скорее самой себе, чем ему:

— *Когда тебе кажется, что простить нельзя, вспомни, сколько было прощено тебе.*

Новый день. Марк приходит на работу без опозданий — это единственное достижение, которым он гордится. Наливает себе кофе из автомата в комнате отдыха. Пластмассовый стаканчик греет руку.

В салоне еще пусто. Только уборщица моет полы, оставляя на черном граните мокрые разводы.

По радио крутят утреннее шоу — ведущие обсуждают какие-то городские новости, смеются. Марк не слушает.

Его взгляд прикован к входящему в салон мужчине. Это не клиент. Точнее, клиент, но особого рода.

Мужчина невысок, коренаст, в дурацкой клетчатой кепке, какие носят гопники из девяностых, и в потертой кожаной куртке. Криминальный шик из двухтысячных, но состарившийся, потускневший. Рядом с ним двое молодчиков — типичная охрана: бритые затылки, бычьи шеи.

Марк внутренне сжимается. Он знает этого человека. Константин Сергеевич Барсуков по кличке «Барс». В девяностые держал несколько автосалонов и разборки, сейчас

вроде как легальный бизнесмен, но методы у него старые. И ему Марк должен круглую сумму.

Долг повесил на него полгода назад бывший приятель, с которым они пытались открыть какой-то мутный бизнес по перепродаже авто из Китая. Приятель исчез с деньгами, а Марк остался крайним. И Барсуков своего не упускает.

— Здорово, Шелест, — голос Барса — как гравий под колесами. — Разговор есть.

Он не спрашивает, можно ли. Просто кивает в сторону переговорной — стеклянного куба в центре салона.

Марк медленно идет за ним. Сердце бьется часто, во рту пересыхает.

В переговорной Барс садится на стул, закуривает дорогую сигарету прямо под знаком «Не курить». Молодчики остаются снаружи.

— Деньги, Марк. Ты обещал в прошлый вторник. Сегодня у нас что? Четверг? Да, четверг. Просрочка.

— Константин Сергеевич, я все понимаю. Я продал машину вчера, плюс еще две на прошлой неделе. Я собираю.

Дайте мне еще неделю.

— Неделю? — Барс выпускает струю дыма в потолок. Глаза у него маленькие, рыбки, ничего не выражающие. — Красивая у тебя квартира, Марк. В центре. Папа-покойник, царствие ему небесное, видать, знал, где покупать. Метраж какой?

Внутри у Марка все обрывается. Он понимает, куда клонит Барс.

— Квартиру не трогайте, — голос его звучит глухо. — Это все, что у меня есть.

— Вот именно. Это все, что у тебя есть. А долг надо отдавать. Ты же понимаешь? Ты парень взрослый, не мальчик. Я дал тебе деньги под честное слово. Ты это слово нарушаешь. Нехорошо.

— Я отдам.

— Я знаю, что ты отдашь. Квартирой.

Барс тушит сигарету прямо о стол, оставляя черный пропаленный след на лакированной поверхности. Встает.

— У тебя месяц, Шелест. Месяц — и или деньги, или переписываешь хату. Иначе я обижусь. А когда я обижаюсь, со мной очень неприятно иметь дело.

Он уходит. А Марк еще долго сидит в переговорной, глядя на пропаленный кружок в столе. Этот кружок кажется ему черной дырой, затягивающей в себя все его будущее.

Глеб — бывший одноклассник Марка. В школе они не особо дружили: Марк был сынком богатого папы, а Глеб — ботаником из небогатой семьи. Но жизнь странная штука. Когда все бывшие друзья Марка растворились в воздухе, как только исчезли деньги, остался только Глеб. Сам нашел его полгода назад, сам предложил помощь.

Квартирка у Глеба маленькая, двухкомнатная, но уютная. Жена, маленький сын-дошкольник, кот британской породы, ленивый и наглый. Книги на полках, детские игрушки на полу, запах выпечки. Простая жизнь, которая Марку всегда казалась скучной преснятиной. Но сейчас, сидя на кухне Глеба с кружкой чая в руке, он чувствует странную, тягучую зависть к этой скуке.

Глеб, высокий, сутуловатый, в очках и вязаном жилете поверх рубашки, внимательно слушает сбивчивый рассказ Марка о визите Барса.

— Да, дела, — вздыхает он, потирая переносицу. — Квартиру тебе терять никак нельзя. Это твое единственное убежище. Что думаешь делать?

— Не знаю, Глеб. Продавать больше, искать вторую работу. Может, таксовать по ночам. На машине тест-драйвовой, пока никто не видит.

— Не смейся. Это уголовщина. Надо искать цивилизованный выход. Давай посчитаем.

Глеб достает ноутбук, открывает таблицу. Он работает ай-тишником в крупной компании — у него мозги заточены на цифры и логику, в отличие от Марка, который привык полагаться на удачу и обаяние.

— Сколько ты должен Барсу?

— Миллион двести.

— Ох. А официальный доход?

— Ну... с комиссионных тысяч семьдесят выходит. Иногда сто.

— Даже если ты ужмешься до минимума, будешь питаться одной гречкой и не платить за квартиру, тебе нужно полтора года. У тебя нет полутора лет.

— Я знаю, — Марк трет лицо ладонями. — Я в заднице.

— Подожди. — Глеб вдруг замирает, глядя на экран. — У меня тут мыслишка одна возникла. Помнишь Рому Ветрова? Он на класс старше нас учился.

— Смутно. Такой рыжий, вечно с фотоаппаратом?

— Да. Он сейчас в полиции работает. В отделе экономических преступлений. И он рассказывал мне пару месяцев назад, что они разрабатывают Барса и его шайку. У них там схема была хитрая с кредитными автомобилями, перепродажами, подставными лицами. Не хватало только прямого свидетеля или какой-то улики, чтобы довести до суда.

Марк напрягается.

— Ты предлагаешь мне стучать?

— Я предлагаю тебе спасти свою шкуру. Ты не «стучишь», ты помогаешь следствию. Это разные вещи. Если Барса закроют, кому ты будешь должен? Никому.

Идея кажется Марку и привлекательной, и отвратительной одновременно. В среде, где он вырос, «крысятничество» каралось жестоко. Но та среда его отвергла. Выплюнула, как инородное тело.

— Дай мне подумать, — говорит он наконец.

Марк идет домой пешком. От Глеба до центра час ходьбы, но ему нужно проветрить голову. Ночной Екатеринбург прекрасен своей суровой красотой. Огни витрин отражаются в мокром асфальте. Проспект Ленина прямой, как стрела. Плотина на Плотинке шумит водой, отделяя исторический центр от современного.

Именно здесь, на набережной, Марк когда-то гонял с друзьями на отцовском «мерседесе». Врубали громко музыку, пили коктейли из бумажных стаканчиков, смеялись. Впереди была бесконечная жизнь, полная легких денег и ярких впечатлений.

Какими же они были идиотами.

Он останавливается у гранитного парапета, смотрит на темную воду городского пруда. На поверхности качаются отражения фонарей. Где-то вдалеке гудит трамвай.

В кармане вибрирует телефон. Марк вытаскивает его, смотрит на экран. Сообщение с неизвестного номера. Он открывает.

«Иногда прощение — это не дар, а освобождение. Не держись за прошлое. А.»

У него перехватывает дыхание. А. Алина.

Он тут же набирает номер Глеба.

— Слышь, Глеб. Ты можешь узнать адрес моей мачехи? По своим каналам айтишным?

— Марк, уже поздно...

— Мне очень нужно. Пожалуйста.

Глеб вздыхает в трубку, слышно, как клацает клавиатура.

— Есть. Скидываю.

Через минуту Марк уже смотрит на адрес. Улица Красноармейская. Это в центре, недалеко от его дома.

Марк поднимается на лифте старого дома с высокими потолками. Здесь до сих пор пахнет советским прошлым — книгами, деревом, уважением к пространству. Он звонит в дверь.

Тишина. Звонит еще раз. И еще.

Наконец, за дверью слышны шаги. Щелкает замок, дверь открывается.

Алина почти не изменилась. Только у глаз прибавилось морщинок, да волосы теперь коротко стрижены, а не собраны в пучок. На ней простой домашний халат, в руках — чашка чая.

Увидев Марка, она застывает. Никаких эмоций на лице. Только рука, держащая чашку, чуть заметно дрогнула.

— Здравствуй, — говорит Марк хрипло.

— Здравствуй, — отвечает она после долгой паузы. Отступает назад, пропуская его. — Проходи.

В квартире тоже мало что изменилось. Та же мебель из загородного дома, которую Алина перевезла в город. Те же картины на стенах. Фотография отца на комод, перед ней

— маленькая лампадка.

Марк проходит в гостиную, садится на диван. Алина — напротив, в кресло.

Молчание звенит в воздухе натянутой струной.

— Ты как? — спрашивает она наконец.

— Нормально. — Он пожимает плечами. — Работаю. Продаю машины. Представь себе, даже что-то получается.

— Я слышала, — Алина кивает. — Город маленький. Са-рафанное радио работает.

— А ты? Чем занимаешься?

— Преподаю. Историю искусств в университете. И волон-терю в приюте для животных.

Вот, значит, как. Преподает историю искусств. Не на его деньги жирует, а сама зарабатывает. Марку почему-то стано-вится стыдно за свои мысли.

— Зачем ты мне написала? — спрашивает он прямо. — Про прощение?

Алина ставит чашку на столик, сцепляет пальцы на коленях.

— Потому что я знаю, что ты в беде, Марк. И потому что я чувствую вину за то, как мы с тобой расстались.

— Ты? Вину? — он горько усмехается. — Это я тебе должен...

— Нет. — Она поднимает руку, останавливая его. — Не перебивай. Твой отец перед смертью просил меня позаботиться о тебе. А я... я была зла. На тебя. На твоё поведение. На то, что ты разрушал все, что он строил. И я решила, что жесткая любовь — это единственный способ тебя спасти. Выкинуть из гнезда, чтобы научить летать. Но, возможно, я перестаралась. Возможно, я просто свалила на тебя свою боль от потери Сережи.

Она замолкает, и Марк видит, как в ее глазах блестят слезы.

— Я скучаю по нему каждый день, — продолжает она тихо. — И я знаю, что ты тоже скучаешь. Поэтому я и написала. Потому что жить с обидой — это не жизнь, Марк. Ты держишься за нее, как за спасательный круг, а она тянет тебя

на дно.

Марк смотрит на фотографию отца. Высокий, красивый, с доброй улыбкой. Человек, который верил в него больше, чем он сам.

— У меня проблемы, Алина, — слова даются с трудом. — Долги. Криминальные. Мне, возможно, придется потерять квартиру. Или пойти на сделку с совестью.

Он рассказывает ей все. Про Барса, про Глеба, про предложение стать информатором. Алина слушает, не перебивая.

— Что ты чувствуешь? — спрашивает она, когда он замолкает. — Внутри?

— Страх. Злость. На себя, в основном. За то, что довел до такого.

— А стыд?

— И стыд. Конечно, стыд.

— Вот стыд — это хорошо. Это значит, что ты еще не потерял. — Она встает, подходит к книжному шкафу, достает небольшую шкатулку. Возвращается, садится рядом с Мар-

КОМ.

— Когда мы продали загородный дом, я положила часть денег на депозит. Для тебя. На случай, если ты когда-нибудь придешь и скажешь то, что сказал сейчас.

Марк ошарашенно смотрит на шкатулку. Алина открывает ее. Внутри — банковская карта и конверт.

— Здесь полтора миллиона. Этого хватит, чтобы закрыть долг перед Барсуковым. Твой отец хотел, чтобы у тебя был шанс начать сначала. Я долго думала, когда его тебе дать. И, кажется, этот момент настал.

— Я не могу... — Марк мотает головой. — Я не заслужил. Я тебе такого наговорил тогда...

— Помнишь, что я сказала тебе на прощание? Что, когда кажется, что простить нельзя, надо вспомнить, сколько было прощено тебе. — Она протягивает ему шкатулку. — Это ты прощен. А теперь осталось самое сложное — простить себя самого.

Марк берет шкатулку дрожащими руками. Комок в горле не дает говорить. Он смотрит на Алину — и впервые за долгое время видит не врага, не захватчицу, а просто уставшую

женщину, которая по-своему любила его отца и, наверное, любит его самого.

— Спасибо, — выдавливают он. — Я... я отдам. Со временем.

— Я знаю. — Она улыбается, и от этой улыбки по лицу Марка наконец текут слезы.

Прошло две недели. Марк стоит в центре салона, возле новенького красного кроссовера — яркого, дерзкого, такого, о каком сам мечтал когда-то. Но теперь он смотрит на него по-другому. Не как на объект зависти, а как на продукт. Качественный продукт, который должен найти своего владельца.

К нему подходит управляющий салоном — Игорь Петрович, сухой, как палка, мужчина с вечно недовольным выражением лица. Он уже в курсе, что Марк вдруг погасил все свои скрытые долги и стал работать втрое усерднее.

— Шелестов, зайди ко мне, — бросает он на ходу.

В кабинете пахнет кофе и бумагами. Игорь Петрович садится в свое кресло, жестом предлагает Марку сесть.

— Ты в этом месяце лучший по показателям. Три машины за неделю — это хорошо. Даже очень хорошо для нашего застоявшегося рынка.

Марк молча кивает.

— Я тут подумал... Мы хотим расширяться. Открывать отдел по работе с корпоративными клиентами. Там нужен человек, который разбирается в бизнес-классе, умеет общаться с состоятельными людьми на их языке. Ты подойдишь. Оклад выше, комиссионные с контрактов. Интересует?

Марк сглатывает. Это больше, чем он мог ожидать. Год назад он бы уже хвастался этим перед всеми. Сейчас — просто чувствует глубокое, спокойное удовлетворение.

— Интересует, Игорь Петрович. Спасибо за доверие.

— Не за что. Ты изменился за последнее время. Это заметно всем. Продолжай в том же духе.

Электричество горит во всей квартире. Играет приятная музыка из колонок. Марк наводит порядок — впервые за долгие месяцы. Моет посуду, вытирает пыль, даже пылесосит старый дубовый паркет, который после уборки вдруг на-

чинает блеснуть, как новый.

Коробку с вещами отца он ставит не над холодильником, а на книжную полку в комнате, рядом со своей старой детской энциклопедией автомобилей. Теперь это не скорбный артефакт, а просто память. Светлая.

Телефон пиликает входящим сообщением. Глеб пишет в чат:

«Ну что, герой? Как ощущения от жизни без долгов?»

Марк печатает ответ:

«Как будто заново родился. Спасибо тебе, брат. Ты настоящий».

«Обращайся)) Кстати, мы тут с женой на выходные на шашлыки собираемся. Поехали с нами. Лес, воздух, нормальная еда. Чего тебе одному сидеть».

Марк на секунду задумывается. Ему хочется. Но есть еще кое-что.

«Я бы с радостью. Но обещал в воскресенье помочь одной женщине в приюте для животных. Ты знаешь, с кем. Так что

перенесем?»

«Ого! Шелестов и волонтерство? Мир перевернулся») Ладно, перенесем. Удачи».

Марк откладывает телефон, подходит к окну. За невымытыми когда-то, а теперь сияющими стеклами — вечерний Екатеринбург. Огни, спешащие люди, шум проспекта. Город-работяга, город-купец, город, который не прощает слабости, но уважает силу.

Он думает об отце. Что бы тот сказал, увидев его сейчас? Наверное, просто улыбнулся бы. Отец любил улыбаться, когда был им доволен. Марк почти забыл эту улыбку, но теперь чувствует ее. Теплую, немного усталую, но полную любви.

Он думает об Алине. О том, как они вместе с ней выгуливали собак в приюте в прошлое воскресенье. Как она рассказывала ему про отца в молодости — такого, каким Марк его никогда не знал. Как они пили чай потом, и молчание между ними было уже не натянутым, а спокойным, как между родными людьми.

Он думает о деньгах. О том, что полтора миллиона — это сумма, и ему предстоит долго их отдавать. Но проценты по этому долгу не капают, и кредитор верит ему. А это дороже

любых банковских гарантий.

Он думает о будущем. Впервые за два года — без страха.

Суббота. Солнце только встает из-за горизонта, золотя шпиль башни на Плотинке. На набережной почти пусто — только редкие бегуны в наушниках да дворники в оранжевых жилетах.

Марк стоит у гранитного парапета на том самом месте, где когда-то стоял ночью, глядя в черную воду и думая о том, стоит ли жить. Сегодня вода в пруду кажется совсем другой — светлой, живой, искрящейся под утренними лучами.

В руках у него кофе из хорошей кофейни. Ради такого утра не жалко потратиться. Он отпивает глоток — горячий, правильный эспрессо, без сахара.

Где-то там, за горизонтом, Уральские горы. Каменный пояс, который пересекает континент. Отец когда-то рассказывал, что Урал — это держава. Здесь все по-настоящему. Здесь не терпят пустых обещаний, но ценят тех, кто держит слово.

Марк держит.

Он смотрит на свой телефон. В календаре — записи на неделю вперед. Работа, встреча с Глебом, занятия по финансовой грамотности, на которые он неожиданно для себя записался. И в субботу — волонтерство с Алиной.

«Неплохо для бывшего М-да», — думает он с усмешкой.

Разворачивается на каблуках и широким шагом идет прочь от набережной. В сторону метро, в сторону обычной рабочей субботы, в сторону своей новой, неидеальной, но честной жизни.

Солнце поднимается выше. Город просыпается. День обещает быть ясным.

## Золото аутодафе

Тишина в аудитории номер четыреста тридцать семь была не просто отсутствием звуков. Это был особый, дистиллированный покой, который рождается из смеси вековой пыли, въевшейся в бархат портьер, запаха сухого мела и того почти религиозного трепета, какой испытывают неофиты перед ликом Истины. Университет имени Фомы Аквинского, этот заповедник мертвых языков и живых амбиций, дремал, укутанный в октябрьский туман, словно дряхлый исполинский зверь с каменными ребрами готических сводов. В этом чреве, среди витражей, преломляющих скудный северный свет в снопы рубиновой и сапфировой пыли, и вершилась малая, никому не ведомая литургия сортировки.

Ефстаф сидел на предпоследнем ряду. Ему было девятнадцать, и его возраст ощущался им самим не как пора цветения, а как затянувшаяся инкубация. Он был студентом факультета классической филологии, и его внутренний мир представлял собой палимпсест, где поверх девственно-чистого пергамента его собственных, еще не оформленных мыслей, грубо, готическим минускулом были начертаны скрижали чужих истин: парадигмы латинского глагола *fero*, гекзаметры Гомера и философемы, отточенные до состояния хирургических скальпелей. Он не был красив той броской, плакатной красотой, что бросается в глаза на пер-

вых полосах; его лицо было составлено из черт, словно бы не решившихся на окончательный шаг: линия подбородка, обещавшая твердость, но смягченная тенью неуверенности; глаза цвета темного янтаря, которые смотрели на мир сквозь призму нескончаемого анализа, из-за чего взгляд всегда казался слегка расфокусированным, обращенным внутрь, в лабиринты синтаксиса.

Сегодня был день оглашения результатов промежуточного коллоквиума. Коллоквиум назывался «Поэтика деструкции: от Сенеки до постмодерна», и вел его профессор Корнелий Адрианович Глас, фигура столь же монументальная, сколь и отталкивающая. Сухой, как щепка, старик с лицом, напоминающим рельефную карту выжженной пустыни, и голосом, способным извлекать музыку из скрежета несмазанных петель, он обожал выстраивать учебный процесс по принципу римского цирка. Он не учил, он устраивал травлю. Его лекции были ареной, где он, словно голодный лев, набрасывался на неокрепшие умы, играя с ними, оглушая лапой эрудиции, чтобы затем, в финале, перегрызть глотку самооценки какой-нибудь метафорой, точной до тошноты.

Глас вошел в аудиторию не через дверь, а как-то бочком, просочившись сквозь само пространство, материализовавшись у кафедры, подобно духу-трикстеру. В руках у него был тонкий лист бумаги. Не стопка курсовых, не пухлая папка — один-единственный лист, текст на котором был напечатан, казалось, не краской, а вытравлен кислотой. Студенты

замерли с той степенью оцепенения, какая бывает у кроликов, застигнутых светом фар несущегося автомобиля. Воздух сгустился, стал вязким, как сироп, и в этой сладкой, удушьющей среде зазвучал голос профессора:

— *Anima vilis*, — начал он, не поднимая глаз от листа, и каждое слово падало в тишину, как камень в колодезь. — Душа подопытная. Именно так, господа студенты, обозначали в средневековых анатомических театрах тела бедняков, предназначенные для препарирования. Ваш коллоквиум, — он обвел аудиторию взглядом, в котором читалось не презрение, а нечто худшее — скорбное, усталое разочарование, — был не чем иным, как анатомическим театром. Вы обнажили передо мной свои души, свои жалкие, недокормленные, анемичные души. И я, ваш патологоанатом, должен вынести вердикт о причинах интеллектуальной смерти большинства из вас.

Он взял паузу, позволив метафоре впитаться в поры аудитории, словно яд, сочащийся из зубов змеи. Ефстаф смотрел на тонкую, пергаментную кожу профессорской руки, держащей лист, и не мог отделаться от ощущения, что читает он не рейтинг, а приговор, написанный на коже некоего мифического существа.

— Рейтинг, — сухо произнес Глас, — это не список имен. Это иерархия выживших. Это топография успеха. И, как на любой карте, здесь важны не только вершины, но и бездны. Я начну с бездны. С той точки на шкале бытия, откуда пути

ведут либо в небытие, либо, если индивид достаточно зол и талантлив, к триумфу.

Он зачитывал фамилии с конца, и каждое имя звучало как удар гонга, возвещающий о чем-то маленьком, стыдном поражении. Студенты втягивали головы в плечи, словно пытались спрятаться в панцири собственных тел. Краски лиц смешивались в единую палитру стыда: кармин прилившей к щекам крови, белила меловой бледности, охра проступивших веснушек. Это была орнаментальная композиция унижения.

— ...и, наконец, наш аутсайдер, наша путеводная звезда, указующая путь в никуда, наш абсолютный ноль, точка замерзания интеллекта, — губы Гласа тронула тень улыбки, похожей на трещину в леднике. — Студент Ефстаф.

Имя упало в тишину и разбилось о нее, не породив эха. Ефстаф почувствовал, как мир на мгновение утратил свои очертания, стал плоским, как картонная декорация. Кровь, отхлынувшая от лица, казалось, унесла с собой и все звуки. Он видел только шевелящиеся, бледные, сухие губы профессора, складки на его шее, похожие на страницы захлопнутой книги, и этот проклятый лист, на котором его имя, словно клеймо, венчало список падших. Последний. Он был последним.

Дальнейшее он помнил смутно, словно смотрел на происходящее через мутное, в мелких трещинках, стекло. Профессор Глас, закончив с анатомией пороков, перешел к восхвалению добродетелей. Его голос обрел медовые, тягучие

интонации, но в этой сладости чувствовался привкус полыни.

— Первое место, — произнес он, и слово «первое» прозвучало как сакральная формула, как заклинание, открывающее врата в Элизий интеллекта. — *Summa cum laude. Magnum opus.* Студент Орест Варзин.

Варзин. Это имя было вышито золотыми нитями на знамени факультета. Орест Варзин — первый во всем. Первый в рейтингах, первый на олимпиадах, первый в списках на стипендию. У него было лицо античного героя, лишенное, впрочем, какой-либо духовной глубины, — идеально вылепленный мрамор, за которым скрывалась пустота, холодная и совершенная, как математическая формула, но профессора боготворили его. Орест был эталонным продуктом системы, гомункулом, выращенным в колбе академического инкубатора.

— Ваша работа, Варзин, — продолжал Глас, и его морщинистое лицо осветилось изнутри, — это глоток озона в душной атмосфере посредственности. Вы единственный, кто понял, что деструкция — это не отрицание, а высшая форма созидания. Вы разъяли текст на атомы смысла, а затем собрали его заново, вдохнув в него жизнь, которая была неведома даже автору. Ваш филологический анализ — это скальпель гения. Первое место, Варзин. Оно ваше по праву рождения, по праву таланта. И, как вы знаете, таков закон: первые места всегда награждаются последними. Вы будете представ-

лять нашу скромную alma mater на международном симпозиуме в Вене. Это — главный приз. Это — ваша корона.

Варзин поднялся. Он сделал это не спеша, с той ленивой грацией сытого хищника, который точно знает, что жертве некуда бежать. Он слегка склонил голову, принимая дань, и его безупречный профиль на мгновение впечатался в кроваво-красный витраж с изображением Святого Георгия, пронзающего змия. Змий, аллегория невежества, корчился под копытом белого коня, а Орест впитывал этот свет, становясь на миг живой иконой торжествующего разума.

Ефстаф видел эту сцену, и внутри него, в той бездне, куда только что сбросили его имя, начал просыпаться холодный, кристально-ясный, совершенно не свойственный ему гнев. Дело было не в зависти. Зависть подразумевает желание обладать тем же. Ефстаф не хотел быть Варзиным. Дело было в другом. В словах Гласа была какая-то фальшь, какой-то глубоко зашитый в подкладку смысла изъян, подобный тому едва заметному браку, что отличает бриллиант чистой воды от искусной подделки. Искусной настолько, что не видно глазу, но ощутимо на каком-то доновском, бытийном уровне.

После лекции он спустился в библиотеку. Это было его убежище, его катакомбы, где он прятался от грохота студенческой жизни. Библиотека пахла временем — сладковатым запахом распадающейся бумаги и терпким ароматом дубовых стеллажей, похожих на поставленные вертикально саркофаги. Свет здесь тек тяжело, процеживаясь сквозь мато-

вые плафоны, ложась на столы ровными медовыми лужицами. Ефстаф сел за свой любимый стол, стоящий в алькове, образованном полным собранием трудов Отцов Церкви в свиной коже, и попытался собрать мысли воедино.

Почему именно он? Его работа не была шедевром, но она и не была бездарной. Она была... тихой. Скрупулезной. Он сравнивал поэтику распада у позднего Рима и в европейском декадансе, не делая громких выводов, а лишь нанизывая факты на нить повествования, словно монах, перебирающий четки. В этом не было блеска, но была честность. И тем не менее, он — последний. Абсолютный ноль.

— Первые места всегда награждаются последними, — прошептал он, пробуя фразу на вкус. Она была похожа на горький миндаль. Цианид истины, скрытый в сладкой оболочке афоризма. В буквальном смысле все ясно: главный приз вручают в конце, это закон драматургии, кульминация церемонии. Но Глас произнес это с такой многозначительной интонацией, с такой паузой, словно вручал Варзину не билет в Вену, а коробку с гремучей змеей, замаскированную под ювелирный футляр.

Его размышления прервал звук шагов. Мягких, вкрадчивых, как у зверя на бархатных подушках лап. Из-за стеллажа с инкунабулами показалась фигура. Это был Клим, однокурсник Ефстафа, существо, словно сотканное из табачного дыма и желчных наблюдений. Он был вечным третьим номером в рейтингах, обитателем бронзовой зоны, откуда так

удобно обозревать и сияющие вершины, и зловонные бездны.

— Медитируешь над бездной своего падения? — спросил Клим вместо приветствия, усаживаясь на край стола и закуривая тонкую, дурно пахнущую сигарету. Дым заструился вверх, извиваясь, как спиритическая змея. — Не советую. Там, на дне, нет ничего, кроме ила и обломков чужих амбиций. Я проверял.

— Я не медитирую, я анализирую, — сухо ответил Ефстаф, не поднимая глаз.

— Анализируешь Гласа? — хмыкнул Клим, выпуская дым колечками, которые одно за другим всплывали в полосу света и там бесследно таяли. — Напрасно. Старый паук плетет свою паутину интриг уже полвека. Думаешь, ты первый, кого он назначил на роль ритуальной жертвы? Каждый год ему нужен козел отпущения, чьи останки будут скормлены амбициям фаворитов. В прошлом году это была девица из группы романистов — она писала гениальную работу о ритмической структуре прозы Апулея, но споткнулась на какой-то мелочи, и Глас распял ее на кресте собственного перфекционизма. Девушка ушла из университета. Говорят, теперь торгует цветами у вокзала. «Первые места всегда награждаются последними», — передразнил он интонации профессора. — Это его коронная шутка. Он считает, что в ней заключена диалектика бытия. Награда — это всегда отложенное воздаяние, а первое место — всегда ловушка. Глас

не просто ставит оценки, он играет судьбами, как в шахматы.

— Ловушка для Варзина? — Ефстаф поднял бровь. — Не похоже.

— В том-то и дело, что не похоже! — Клим ткнул сигаретой в воздух, и серый пепел осыпался на дубовую столешницу, словно саван. — Варзин — его протее. Его голем. Глас вылепил его по своему образу и подобию. Но, знаешь, я слышал одну историю... Грязную. Варзин, при всем своем мраморном совершенстве, не брезгает ходить по головам, но не в переносном, а в самом прямом, интриганском смысле. Его последняя работа о Сенке... Говорят, концепция, само зерно, из которого вырос весь его «гениальный анализ», была не его. Что где-то есть черновик, исходный код этого шедевра, написанный кем-то другим. И что человек, написавший это, был не просто обворован, но и уничтожен.

Слова Клина упали в благодатную почву. Ефстаф почувствовал, как в его сознании, словно грибница в темном погребке, начинает разрастаться сеть сомнений. Он не поверил Климу безоговорочно — Клим был хроническим завистником, и желчь, струившаяся в его жилах, отравляла любое его суждение. Но зерно было брошено. Оно обрело имя: исходный код. Черновик.

Всю следующую неделю Ефстаф провел в состоянии, близком к сомнамбулическому. Он посещал лекции, сидел в столовой, ковыряя вилкой безвкусное картофельное пюре, похожее на строительный клей, но сознание его блуждало в

иных сферах. Фраза «последние будут первыми» — этот перевертыш из Нагорной проповеди — стала его навязчивой идеей. Он сопоставлял ее с афоризмом Гласа, и между ними не было примирения. В одном была надежда на высшую справедливость, во втором — холодный цинизм имманентной ловушки. Где истина? И что на самом деле произошло с его работой и работой Варзина?

Он начал с малого. Взяв в деканате под благовидным предлогом (для сравнительного анализа, как же иначе) работы всех участников коллоквиума, он заперся в своей комнате в общежитии. Комната была убогой — казенные обои в блеклый цветочек, пыльные занавески, письменный стол, залитый чернилами и воском, словно поле битвы. Он разложил тексты перед собой, словно карты Таро, пытаясь прочесть судьбу.

Работа Варзина была безупречна. Она ослепляла. Она была похожа на парадный доспех, начищенный до зеркального блеска, внутри которого, впрочем, могло ничего и не быть. Читая ее, Ефстаф наткнулся на одну сноску, одну-единственную, которая показалась ему инородной. Это была ссылка на редкое издание комментариев к «Лаокоону» Лессинга, изданное крошечным тиражом в Геттингене в 1937 году. Ничего особенного, но стиль сноски — сухой, экономный, с какой-то болезненной точностью — выбивался из общего, витиеватого и самолюбующегося стиля Варзина, как черный гвоздь из позолоченной рамы. Ефстаф переписал

библиографическую ссылку.

Затем он начал поиск. Он погрузился в пучину библиотечных каталогов, межбиблиотечных абонементов, оцифрованных архивов. Неделя ушла на то, чтобы найти ту самую работу, которую авторитетно цитировал Варзин. Это был тяжелый, академический немецкий текст, написанный неким Отто Штольцем. И, прочитав его, Ефстаф похолодел. Весь концептуальный каркас работы Варзина, сама его «анатомия деструкции» была, словно чертеж, скопирована из этой забытой богом брошюры. Но не просто скопирована. Варзин перевел ее, транспонировал на другой материал, но оставил все несущие конструкции. А самое главное — та самая сноска, за которую зацепился глаз Ефстафа, была сделана на работу, которую Варзин не цитировал, а плагиатил. Он процитировал сам себя, замаскировав кражу под ссылку на источник! Это был изящный, почти гениальный ход — скрыть улику на самом виду.

Ефстаф сидел, откинувшись на спинку скрипучего стула, и смотрел в потолок. Он держал в руках ключ. Но от какой двери? Прямой плагиат? Это было бы слишком просто. Глас, с его чутьем, не мог не заметить. Или заметил? Или он был соучастником? Или, что еще интереснее, кукловодом? Здесь нити заговора сплетались в сложный узел. «Первые места всегда награждаются последними». Что, если награда Варзина — это не приз, а приманка? Что, если Глас сознательно вскормил монстра из украденных идей, чтобы затем, в самый

триумфальный момент, обрушить на него всю мощь своего сарказма и эрудиции, публично казнив на венском симпозиуме? Превратить его венскую корону в терновый венец? А для этого нужно, чтобы кто-то, какой-нибудь «последний», проделал грязную работу — раскопал факты, нашел доказательства. Ефстаф был идеальным кандидатом — униженный, оскорбленный, движимый холодной яростью. Он должен был стать детонатором.

Ощущение того, что он — марионетка в чужом, дьявольски продуманном спектакле, было омерзительным. Но вместе с тем в нем проснулся охотничий азарт. Он не станет пешкой. Он переиграет Гласа на его же поле. Он проведет собственное расследование и найдет ту точку опоры, которая позволит ему перевернуть всю шахматную доску.

Нити вели в прошлое. В архивы. Через день поисков Ефстаф нашел то, что искал. Пять лет назад в университете учился некто Даниил Штерн. Судя по обрывочным записям на форумах и старым газетам факультетской многотиражки, это был вундеркинд, самородок, чьи работы на первом курсе потрясали профессоров. Его специализацией была как раз позднеантичная поэтика. А затем — тишина. Штерн исчез. Его имя больше не упоминалось. Он был вымаран, вычеркнут, стерт, словно неудачная фраза с меловой доски.

Ефстаф нашел адрес. Это была окраина города, зона частного сектора, где дома лепились друг к другу, словно старые пьяницы, ища опоры. Дом Штерна оказался покосившимся

деревянным строением с заколоченными окнами. Но из трубы вился дымок. Никто не открыл на стук. Ефстаф толкнул дверь, и она, заскрипев, словно разбуженный филин, подавалась внутрь.

Запах ударил в нос — смесь плесени, лекарств и безысходности. В полумраке комнаты, заваленной книгами и пыльными рукописями, словно баррикадами, сидел человек. Ему могло быть и тридцать, и пятьдесят. Это была мумия, живой труп, добровольно заточивший себя в склепе собственной несостоявшейся жизни. Его глаза, единственное живое в этом лице, смотрели на гостя без удивления, с каким-то запредельным безразличием.

— Вы Даниил Штерн? — спросил Ефстаф, и его голос прозвучал слишком громко в этой гулкой, как колодец, тишине.

Человек медленно, словно преодолевая сопротивление воды, кивнул.

— Меня зовут Ефстаф. Я студент. Я пришел поговорить о «Поэтике деструкции». О Сенеке. И о работе, которую пять лет назад вы подали профессору Гласу.

При имени Гласа в глазах Штерна что-то мелькнуло. Не гнев. Не страх. Боль. Глубокая, застарелая боль, словно кто-то прикоснулся к незаживающей ране.

— За что он вас? — тихо спросил Ефстаф, присаживаясь на край колченогого стула.

Штерн долго молчал. Потом его губы разомкнулись, и из

них вырвался звук, похожий на шелест сухих листьев.

— Первые места, — прошептал он, — всегда награждаются последними. Я думал, это ко мне. Я был первым. Я написал работу. Не просто работу — откровение. Но Глас... Он вызвал меня к себе. Сказал, что моя работа блестяща, но она — цветок в пустыне. Ей нужна почва. Другой студент, сказал он, человек с именем, с положением в академическом свете, сможет дать этим идеям ход. Я же, безвестный провинциал, лишь погребу их под спудом своей безродности. Он предложил мне сделку: я отдаю свои идеи Варзину — тогда еще никому не известному, но подающему надежды — и получаю взамен протекцию, гарантированную аспирантуру. Я, дурак, согласился. Я думал, он говорит о научной школе. О сотрудничестве.

Штерн замолчал, глотая воздух, словно рыба, выброшенная на берег.

— Это был обмен, — продолжил он с трудом. — Я отдал Варзину душу своих идей. А Глас... Глас отдал Варзину меня. Мою работу. Мой стиль. Мои мысли. Варзин ее даже не переписал, он просто выучил ее, как попугай, и защитил как свою. А меня Глас выбросил. Он препарировал меня, анатомировал мой талант, извлек все ценное и пересадил в тело этой бездарной куклы. Он создал гомункула. Идеального студента из плоти моих идей. А меня списал, как отработанный материал. Меня, а не Варзина, назначили последним.

Ефстаф слушал, и орнамент его мира пересобирался. Вот

оно, подлинное значение фразы! «Первые места всегда награждаются последними». Это не про то, что приз вручают в конце. Это про то, что истинный создатель, первый, творец, обречен быть последним, остаться в тени, быть принесенным в жертву, чтобы его сиянием озарилась пустая оболочка фаворита. Это был закон, по которому Глас строил свою систему. Интеллектуальный каннибализм, возведенный в ранг педагогического принципа. Варзин был не вором. Он был даже не соучастником. Он был продуктом. Ходячим саркофагом, в который замуровали живой талант Штерна. А сам Ефстаф? Он должен был стать новым Штерном? Или новым Варзиным? Глас намеренно унизил его, чтобы подвигнуть на это расследование. Чтобы Ефстаф, найдя Штерна и узнав правду, пришел к нему — с гневом, с разоблачением. И тогда Глас бы сказал: «Ну вот, ты и созрел. Сделай выбор. Ты можешь занять место Варзина, стать моей новой марионеткой, новым „первым“. Или разделишь судьбу Штерна, став очередным „последним“. Или... отдай свои идеи — и я сделаю из тебя бога».

Ефстаф вышел из дома Штерна, когда сумерки уже сгустились в чернильную тьму. Он уносил с собой папку — архив Штерна, который тот отдал ему с безразличием смертельно уставшего человека: «Возьмите. Может, вам пригодится. Моя жизнь кончилась. Пусть хоть что-то останется».

Следующие три дня Ефстаф не выходил из комнаты. Он пил дешевый, обжигающий горло чай и читал. Это была не

работа, это была симфония мысли. Ясной, прозрачной и бездонно глубокой. Даниил Штерн был гением, чей свет был преступно украден, а сам он низвергнут во тьму. У Ефстафа в руках были не просто доказательства плагиата. У него была бомба, способная уничтожить не только карьеру Варзина, но и разнести в клочья репутацию самого Корнелия Адриановича Гласа. У него был подлинник и жалкая копия. Он мог пойти в деканат. В диссертационный совет. В прессу. Он мог восстановить справедливость, покарать виновных и стать героем. Первым из последних.

Но холодный, аналитический ум, воспитанный годами штудий, нашептывал ему иное. «Глас ждет этого. Это и есть его главный экзамен. Он подсунил тебе Штерна, как шахматную фигуру, и ждет твоего хода. Прямолинейное разоблачение — это ход дурака. Это предсказуемо. Это то, что в системе Гласа называется „бунтом черни“. Настоящая победа не в том, чтобы уничтожить Варзина и Гласа. Потому что на смену им придут другие. Система „первых и последних“ вечна. Настоящая победа — вписать себя в эту систему по собственным правилам, используя ее же логику против нее самой».

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.